

Капитан Фракасс

Автор:

Теофиль Готье

Капитан Фракасс

Теофиль Готье

Не раз экранизированная (в том числе и в нашей стране) жемчужина творчества Теофиля Готье, которую большинство литературоведов ставят даже выше его великолепных новелл.

На первый взгляд перед нами – элегантная стилизация под классический историко-приключенческий роман. Яркие герои, увлекательный сюжет... На первых страницах читатель вполне смог бы спутать «Капитана Фракасса» с работами Александра Дюма.

Однако чем дальше, тем яснее становится, что и острая интрига романа, и его демонстративная стилизованность – лишь причудливая и изысканная рамка для сильного, беспощадно исповедального повествования о роли интеллектуала в искусстве...

Теофиль Готье

Капитан Фракасс

© Перевод. Н.Г. Касаткина, наследники, 2011

© Перевод стихов. М.Н. Ваксмахер, наследники, 2011

© ООО «Издательство Астрель», 2011

Обитель горести

На склоне одного из безлесных холмов, горбами вздымающих ланды между Даксом и Мон-де-Марсаном, расположена была в царствование Людовика XIII дворянская усадьба – из тех, что так часто встречаются в Гасконии и среди крестьян высокопарно именуются замками.

Две круглые башни, увенчанные остроконечными крышами, с обоих концов замыкали здание, а два глубоких желоба на его фасаде говорили о том, что первоначально здесь был подъемный мост, ныне ставший бесполезным, ибо время упразднило ров; тем не менее сторожевые вышки на башнях и флюгера в виде ласточкина хвоста придавали строению чуть что не феодальный вид. Ковер из плюща наполовину окутывал одну из башен и темной зеленью своей оттенял камень, успевший к этому времени посереть от старости.

Издали увидев замок, поднимавший в небо над зарослями дрока и вереска свои островерхие кровли, путник счел бы его вполне пристойным жилищем для дворянина средней руки, но, приблизившись, изменил бы мнение. Мох и сорные травы завладели аллеей, ведущей от большой дороги к дому, оставив лишь узкую серую полосу, подобную потускневшему галуну на потертом плаще. Две колеи, наполненные дождевой водой и населенные лягушками, свидетельствовали о том, что некогда здесь проезжали экипажи. Однако невозмутимость лягушачьего племени показывала, что оно издавна, не зная помех, обосновалось тут. На тропинке, проложенной среди густой травы и размытой недавними ливнями, не виднелось следа человеческих ног, и ничья рука, очевидно, давно уже не раздвигала веток частого кустарника, унизанных блестящими капельками.

Почерневшие, изъеденные широкими желтыми подтеками черепицы расползлись в разные стороны, а стропила местами совсем прогнили; заржавленные флюгера перестали вращаться и все показывали разное направление ветра; слуховые окошки были закрыты покоробленными и растрескавшимися ставнями, амбразуры башен засорены щебнем; из

двенадцати фасадных окон восемь были заколочены досками, а вспученные стекла остальных дребезжали в своих свинцовых переплетах при малейшем натиске ветра. В промежутках между окнами штукатурка облупилась и сыпалась, как чешуйки с пораженной болезнью кожи, обнажив разошедшиеся кирпичи, которые крошились под вредоносным воздействием луны; входная дверь была обрамлена каменным наличником с правильными выпуклостями – следами бывшего орнамента, выветрившегося от времени и непогоды, а венчал ее полустертый герб, который не под силу было бы разобрать опытнейшему знатоку геральдики; завитки над шлемом изгибались самым причудливым образом, то и дело обрываясь. Дверные створки еще сохранили поверху красноватый колер, словно краснели за свой неприглядный вид; гвозди с остроконечными шляпками, набитые в строгой симметрии, нарушенной временем, скрепляли их разошедшиеся доски. Открывалась лишь одна створка, что было вполне достаточно для приема явно немногочисленных посетителей, а у дверного косяка догнивало полуразломанное колесо – жалкий остаток кареты, окончившей свой век в прошлое царствование. Верхушки труб и углы карнизов были облеплены ласточкиными гнездами, и если бы над одной из этих труб не завивалась штопором тонкая струйка дыма, точь-в-точь как над домиками, какие школьники рисуют на полях своих тетрадей, всякий счел бы жилище необитаемым; и, верно, очень скудную трапезу изготовляли на этом очаге, – из солдатской трубки дым валил бы куда гуще. Этот дымок был единственным признаком жизни в замке, как одно лишь легкое облачко пара из уст умирающего свидетельствует о том, что он еще жив.

Не без ропота и явного недовольствия повертываясь на ржавых и визгливых петлях, дверь давала доступ в самую старую часть замка – портал со стрельчатым сводом, разделенным четырьмя нервюрами голубоватого гранита и ключевым камнем в точке их пересечения, где повторялся сохранившийся лучше, чем на входных дверях, герб с тремя золотыми аистами на лазоревом поле или чем-то в этом духе, – полумрак, царивший под сводом, мешал точно разглядеть их. В стену портала были вделаны кованые гасильники, закопченные пламенем факелов, а также железные кольца, к которым некогда привязывались лошади гостей, что, судя по слою пыли на кольцах, случалось теперь крайне редко.

Из портала одна дверь вела в покои нижнего этажа, другая – в помещение, возможно, бывшее когда-то оружейной залой, и далее во двор – унылый, пустой и холодный, обнесенный высокими стенами, на которых зимние дожди оставили длинные черные полосы. По углам двора, среди щебня, упавшего с карнизов, пробивалась крапива, овсюг, цикута, и трава зеленой рамкой окаймляла плиты.

В глубине, за каменной балюстрадой, которую украшали увенчанные шпилями шары, террасой спускался сад. Поломанные ступени шатались под ногами в тех местах, где не были скреплены волокнами мха и вьющихся растений; подпоры террасы обросли трилистником, желтыми левкоями и дикими артишоками.

Самый сад мало-помалу вновь превратился в первобытную чащу. Кроме одной грядки, где виднелись кочны капусты с ярко-зелеными в жилках листьями и красовались звезды подсолнечников с черными сердцевинками, свидетельствуя о некотором уходе, надо всем остальным заброшенным пространством брала верх природа и, казалось, с особым удовольствием стирала следы человеческого труда.

Давно не подстригавшиеся деревья во все стороны раскидывали буйные ветви. Буксовые бордюры вдоль аллей и газонов, давно не ведая ножниц, превратились в заросли высокого кустарника. Случайно занесенные ветром семена, по обычаю сорных трав, дали мощные всходы, вытеснив садовые цветы и редкие растения. Покрытые колючками ветки терновника переплетались посреди дорожек, вцепляясь в проходящего и не пуская его дальше, чтобы он не мог проникнуть в этот заповедник скорби и запустения. Тишина не любит быть застигнутой врасплох и сеет вокруг себя всяческие преграды.

Но кто не побоялся бы, что его будут царапать колючки кустов и бить по лицу ветви деревьев, и дошел до конца заглохшей старинной аллеи, заросшей не хуже лесной тропы, тот очутился бы перед нишей, выложенной ракушками наподобие естественного грота. К посеянным первоначально между камнями растениям – ирисам, шпажникам, черному плющу прибавились другие – спорыш, стоног, дикий виноград, – они свисали пасмами, наполовину закрывая мраморную статую, изображавшую мифологическую богиню, не то Флору, не то Помону, которая в свое время была, надо полагать, весьма изящна и делала честь своему создателю, ныне же, став курносой, уподобилась смерти. Незадачливая богиня держала корзинку, но не с цветами, а с плесневелыми, на вид ядовитыми грибами; казалось, и сама она отравлена, – ее тело, некогда столь белое, пестрело пятнами бурого мха. У ее ног в каменной раковине под зеленой ряской загнивала темная лужица – остаток дождей, ибо из львиной пасти, которую можно было разглядеть с грехом пополам, давно уже не извергалась вода, не поступавшая из засоренных или уничтоженных временем труб.

Этот, по тогдашнему наименованию, сельский приют, как ни был он разрушен, свидетельствовал о бывшем благосостоянии и о тяге к искусству прежних владельцев замка. Если бы статую богини отчистить и подправить как следует, в ней обнаружился бы стиль флорентийского Ренессанса в духе тех итальянских скульпторов, которые приехали во Францию вслед за художником Россо или за Приматиччо в эпоху, по-видимому, совпадающую с процветанием захиревшего ныне рода.

Грот примыкал к замшелой и просыревшей стене, на которой переплетались еще обрывки трельяжа, должно быть, когда-то густо увитого ползучими растениями и скрывавшего каменную кладку. Еле заметная теперь за раскидистыми ветвями непомерно разросшихся деревьев, старая стена замыкала сад с этой стороны. Дальше до самого края низкого и сумрачного горизонта тянулись ланды с курчавыми кустиками вереска.

Когда вы поворачивали вспять, перед глазами вставал дворовый фасад замка, еще более жалкий и обветшалый, чем описанный ранее, так как последние владельцы употребляли свои скудные средства на то, чтобы хоть мало-мальски поддержать внешнее благообразие.

На конюшне, достаточно просторной для двадцати лошадей, стояла одна тощая кляча с выпирающими под кожей мослаками; обнажив длинные желтые зубы, она выбирала в пустой кормушке считанные соломинки и время от времени бросала на дверь косые взгляды из глазниц, в которых монфоконские крысы не выискали бы ни крупички сала. На пороге псарни единственный пес, чье дряблое тело болталось в непомерно широкой шкуре, дремал, уткнувшись носом в лапы, служившие ему отнюдь не пуховой подушкой; казалось, он настолько привык к безлюдью, что не настораживался от шума, как это свойственно собакам даже во сне.

В верхние этажи замка вела огромная лестница с точеными деревянными перилами и двумя площадками – по одной на каждом из этажей. До второго лестница была каменной, а дальше кирпичной и деревянной. По стенам вдоль нее, сквозь пятна плесени, видна была декоративная живопись в серых тонах, изображавшая пышные архитектурные рельефы со светотенью и перспективой. Здесь смутно можно было различить также ряд Атлантов, поддерживавших карниз на консолях, откуда ниспадал орнамент из виноградных листьев и лоз в виде арки, за которой проглядывало выцветшее небо, а на нем – неведомые острова, нанесенные подтеками от дождей. Между Атлантами в нарисованных

нишах красовались бюсты римских императоров и других исторических личностей, но все это было до того смутно, блекло, истерто, испорчено, что представлялось не настоящей, а призрачной живописью, о которой нужно рассказывать тенями слов взамен обычной человеческой речи, слишком плотской для нее. Казалось, эхо этой пустынной лестницы с удивлением отзывается на шум шагов.

Дверь, обитая линялой зеленой материей, висевшей клочьями на гвоздях с облезлой позолотой, открывалась в залу, которая, по-видимому, служила столовой в те легендарные времена, когда в этом безлюдном доме еще вкушали пищу. Потолок был перерезан пополам толстой балкой, от которой в обе стороны полосами отходили фальшивые брусья, а промежутки когда-то были окрашены в голубой цвет, ныне затянутый слоем пыли и паутины, добраться же щеткой на такую высоту явно никто не пытался. Над старинным камином оленья голова раскинула свои ветвистые рога, а по стенам с закопченных полотен смотрели воины в кирасах, – шлем был рядом, на столе, или в руках у пажа, – со жгуче-черными живыми глазами на мертвых лицах, вельможи в мантиях с круглым крахмальным воротником, на котором голова покоилась, как покоятся отсеченные главы Иоанна Крестителя на серебряных блюдах; почтенные матроны в старомодных нарядах пугали своей мертвенной бледностью; из-за пожухлых красок они превратились в ламий, вампиров и оборотней. Грубая мазня провинциальных живописцев придавала этим портретам особенно жуткий и зловещий вид. Некоторые были без рам, другие окаймлены потускневшим и порыжевшим золотым багетом. В углу каждого портрета имелся фамильный герб и был обозначен возраст оригинала; но, независимо от эпохи, особой разницы между ними не замечалось; на всех полотнах, потемневших от лака и покрытых слоем пыли, свет был желтый, а тени черные, как уголь; два-три портрета от плесени и цвели приобрели окраску разлагающихся трупов, наглядно доказывая полное равнодушие к изображению своих славных предков со стороны последнего отпрыска этого знатного и доблестного рода. Вечером при зыбком свете ламп немые и неподвижные образы, должно быть, превращались в страшные и смешные привидения.

Ничего нет печальнее, чем забытые портреты в пустынных покоях, полустертые воспроизведения тех форм, что давно распались под землей.

Но в таком виде эти рисованные призраки вполне подходили к печальному безлюдю замка. Обитатели из плоти и крови показались бы чересчур живыми для этого мертвого дома.

Середину залы занимал стол почерневшего грушевого дерева, с витыми ножками, наподобие колонн Соломонова храма, в которых древоточцы пробуравили множество отверстий, не встречая помех в своих скрытных трудах. Серый налет, на котором можно было чертить вензеля, покрывал доску стола, из чего явствовало, что обедают за ним не часто.

Два поставца или буфета того же дерева с резьбой, приобретенные, по всей вероятности, вместе со столом во времена процветания, стояли на противоположных концах залы; фарфоровые щербатые вазы, разрозненные бокалы, несколько керамических фигурок работы Бернара Палисси, изображающих змей, рыб, крабов и раковины, покрытые глазурью по зеленому полю, служили убогим украшением пустых полок.

Бархатная обивка пяти-шести стульев, в прошлом, возможно, пунцовая, от времени и употребления стала рыжей, из дыр ее торчал волос, а сами стулья хромали на непарных ногах, как разностопные стихи или покалеченные вояки, бредущие восвояси после сражения. Пожалуй, только бесплотный дух мог без большого риска усесться на такой стул, да и употреблялись они, должно быть, лишь в тех случаях, когда предки, выходя из облупленных рам, рассаживались вокруг пустого стола и за воображаемым ужином в долгие зимние ночи, столь благоприятные для дружеской встречи привидений, вели беседы об упадке своего славного рода.

Из этой залы был ход в другую, несколько меньшую. Здесь стены были украшены фландрскими шпалерами. Но не надо при этом представлять себе несообразное с окружающим роскошество, – шпалеры были протертые, изношенные, выцветшие, и полотнища расползались по всем швам, держась на стенах только считанными нитями и силой привычки. Слиявшие деревья были желтыми с одной стороны и синими с другой. Цапля, стоящая на одной ноге посреди тростника, порядком пострадала от моли. Фламандскую ферму с колодцем, увитым хмелем, почти уже нельзя было различить, а на мучнистой физиономии охотника за чирками только красные губы и черные глаза, очевидно, более стойкой окраски, сохранили первоначальную яркость, точно нарумяненные губы и наведенные брови на восковом лице покойника. Ветер ходил между стеной и отставшими шпалерами, отчего они весьма подозрительно колыхались. Если бы Гамлет, принц Датский, был занят беседой в этой комнате, он выхватил бы шпагу и с криком: «Крыса!» – пронзил бы Полония сквозь ткань шпалер.

Бессчетные шорохи, еле уловимый шепот тишины, делая безлюдие еще ощутимее, смущали слух и душу посетителя, достаточно отважного, чтобы сюда проникнуть. Мыши с голоду выгрызали шерстяную основу ткани. Древооточцы под сурдинку пилили балки потолка, точно часы смерти отстукивая время о доски панелей.

Всякий невольно вздрогнул бы, когда внезапно раздавался треск мебели, как будто тишина, наскучив неподвижностью, расправляла суставы. Один из углов комнаты занимала кровать с колонками и парчовыми занавесками, которые из белых с зелеными разводами стали грязно-желтыми и посекались на сгибах; их боязно было раздвинуть, чтобы, чего доброго, не увидеть притаившееся в темноте страшилище или застывшую под простыней фигуру с очертаниями заостренного носа, костлявых скул, сложенных рук и вытянутых ног, как у статуй на крышках гробниц, – настолько призрачным становится сразу все, что сделано для человека и где нет самого человека. Можно бы также представить себе, что тут, наподобие спящей красавицы, спит вечным сном заколдованная принцесса, но зловещая таинственность неподвижных складок исключала фривольные мысли.

Стол черного дерева, где отстали медные инкрустации, косое и мутное зеркало, откуда, истосковавшись по отражению человеческого лица, сошло олово, кресло с вышивкой крестом, плод терпения и досуга какой-нибудь прабабки, где теперь среди выцветшей шерсти и шелка блестели лишь отдельные серебряные нити, – вот что составляло убранство этой комнаты, на худой конец пригодной в качестве жилья для человека, который не боится ни духов, ни привидений.

Слабый зеленоватый свет проникал в эти две комнаты через два незаколоченных фасадных окна, тусклые стекла которых, не мытые уже лет сто, казались посеребренными снаружи. Свисавшие с ржавых прутьев и протертые на сгибах драпировки, которые порвались бы в клочья при попытке их задернуть, еще скрадывали этот сумеречный свет и углубляли уныние, царившее тут.

Дверь в глубине второй комнаты открывалась во мрак, в пустоту, в неизвестность. Однако мало-помалу глаз привыкал к этой тьме, прорезанной белесыми бликами из щелей между досками на окнах, и смутно различал целую анфиладу пришедших в запустенье комнат с выкрошившимся паркетом, с осколками стекла на полу, с голыми стенами, кое-где покрытыми лоскутьями обтрепанных шпалер, с обнажившейся дранкой на потолках, пропускающих

дождевую воду, – словом, великолепное помещение для синедриона крыс и конгресса летучих мышей. Кое-где даже небезопасно было ступать, так как пол качался и гнулся под ногами, но никто не отваживался проникнуть в эту юдоль тьмы, пыли и паутины. С самого порога в нос бил затхлый запах плесени и запустения, пронизывающая сырость, как в склепе над ледяным мраком могилы, с которой сдвинут надгробный камень. И правда, в этих залах, куда не заглядывало настоящее, медленно обращался в прах остов прошлого, и почившие годы дремали по углам в колыбелях из паутины.

На чердаках в течение дня гнездились совы, филины и сипухи с перьями на ушах, с кошачьими головами и круглыми светящимися зрачками. Крыша, продырявленная в двадцати местах, давала свободный доступ этим приятным птичкам, и они чувствовали себя здесь не менее вольготно, чем в развалинах Монлери и замка Гаяр. Каждый вечер их запыленная стая с пронзительными криками, которые привели бы в содрогание человека суеверного, улетала вдаль на поиски пищи, ибо в этой цитадели голода нельзя было раздобыть ни крошки съестного.

В комнатах нижнего этажа не было ничего, кроме нескольких охапок соломы, маисовой ботвы и кое-какого садового инструмента. В одной из них лежал тюфяк, набитый сухими кукурузными листьями, и серое шерстяное одеяло, – это, очевидно, была постель единственного в замке слуги.

Полагая, что читателю наскучила прогулка среди тишины, убожества и запустения, приведем его в то место пустынного дома, которое еще подавало признаки жизни, а именно в кухню, – над ней-то и подымалось из трубы легкое белое облачко, упомянутое при описании наружного вида здания.

Чахлый огонь желтыми языками лизал доску очага, время от времени достигая чугунного котелка, нацепленного на крюк, а слабый отблеск этого огня зажигал красноватые искорки на боках двух-трех кастрюль, висевших на стене.

Дневной свет, проникая с крыши через широкую, без колен, трубу, голубоватыми бликами застывал на тлеющих углях, отчего и самый огонь казался бледнее, словно коченел в этом холодном очаге. Не будь котелок накрыт, дождь капал бы прямо в него, разбавляя мясной навар.

Постепенно нагреваясь, вода наконец забурлила, и котелок стал хрипеть среди глухой тишины, как человек, страдающий одышкой: капустные листья, поднимаясь на поверхность вместе с пеной, явно показывали, что возделанный участок огорода внес свою лепту в эту более чем спартанскую похлебку.

Старый черный кот, тощий, облезлый, как выношенная муфта, с сизыми плешинами, постарался сесть возможно ближе к очагу, лишь бы только не спалить усов, и с видом заинтересованного наблюдателя вперил в котелок круглые зеленые глаза, пересеченные столбиком зрачка; уши и хвост были у него отрезаны до основания, отчего он напоминал то ли японских химер, которых ставят в витрины вместе с другими редкостями, то ли фантастических чудовищ, которым ведьмы, отправляясь на шабаш, поручают снимать накипь с волшебного варева в чугуне.

Этот кот, сидевший в одиночестве на кухне, казалось, варил похлебку сам для себя, и он же, конечно, поставил на дубовый стол тарелку в зеленых и красных цветах, оловянный кубок, весь исцарапанный, конечно, его же когтями, и фаянсовый кувшин с грубо намалеванным сбоку голубым гербом, тем же, что на портале, на выступе свода и на фамильных портретах.

Для кого был поставлен этот скромный прибор в этом замке без обитателей? Быть может, для домашнего духа, для genius loci, для кобольда, верного избранному жилищу, и черный кот с непроницаемо загадочным взглядом ждал его, чтобы прислуживать ему, перекинув через лапу салфетку.

Котелок продолжал кипеть, а кот сидел все так же неподвижно на своем посту, точно часовой, которого забыли сменить. Наконец раздался шаг, тяжелые и грузные шаги пожилого человека; послышалось покашливание, звякнула щеколда, и в кухню вошел старик, с виду не то крестьянин, не то слуга.

При появлении старика черный кот, очевидно, давний его приятель, покинул свое место у очага и стал по-дружески тереться о его ноги, выгибая спину, выпуская и пряча когти и издавая то хриплое урчание, которое у кошачьей породы служит знаком наивысшего удовлетворения.

– Ладно, ладно, Вельзевул, – сказал старик и нагнулся, чтобы отдать коту долг вежливости, погладив шершавой рукой его облезлую спину, – я знаю, ты меня любишь, и мы с моим бедным господином слишком здесь одиноки, чтобы не

ценить ласки животного, хоть и лишенного души, но как будто все понимающего.

Покончив со взаимными любезностями, кот засеменил впереди старика, направляя его шаги к очагу, как бы для того, чтобы передоверить ему присмотр за котелком, на который он взирал с умильнейшим вожделением, ибо Вельзевул заметно старел, стал туг на ухо и утратил прежнюю зоркость глаз и сноровку в лапах, чем день ото дня сокращались те возможности, которые давала ему охота на птиц и на мышей; потому-то он не сводил взгляда с похлебки, надеясь получить свою долю и заранее облизываясь.

Пьер – так звали старого слугу – подбросил хворосту в еле тлеющий огонь, ветки, извиваясь, затрещали, и вскоре яркое пламя взвилось вверх под веселую перестрелку искр. Казалось, это резвятся саламандры, отплясывая сарабанду в языках пламени. Жалкий чахоточный сверчок, обрадовавшись теплу и свету, попытался было отбивать такт в свои литавры, но издал лишь какой-то сиплый звук.

Пьер сел на деревянную скамейку под колпаком очага, обитым по краю старым зеленым штофным ламбрекеном с фестонами, бурый от дыма; кот Вельзевул пристроился рядом.

Отблеск пламени освещал лицо старика, которое, если можно так выразиться, было выдублено временем, солнцем, ветром и непогодой и стало темней, чем у индейцев-караибов; пряди седых волос, выбившихся из-под синего берета и прилипших к вискам, только подчеркивали смуглый, почти кирпичный цвет кожи, а черные брови являли резкий контраст с белой как лунь головой. У него был характерный для басков удлинённый овал лица и нос, похожий на клюв хищной птицы. Глубокие морщины, точно сабельные рубцы, сверху донизу бороздили его щеки. Обшитое тусклым галуном подобие ливреи такого цвета, который был бы головоломкой для самого опытного живописца, наполовину прикрывало песочную замшевую куртку, местами залоснившуюся и почерневшую в свое время от трения кирасы, что придавало ей сходство с пятнистым брюшком куропатки; Пьер некогда был солдатом, и остатки военного обмундирования составляли часть его штатского платья.

В его полудлинных штанах проглядывали и уток и основа, ткань их до того истончилась, что стала похожа на канву для вышивания, и невозможно было определить, сшиты они из сукна, из саржи или шерсти с начесом. Всякий ворс

давно сошел с их плешивой поверхности, ни один евнух не мог бы похвалиться таким гладким подбородком. Весьма приметные заплаты, сделанные рукой, более привычной к шпаге, чем к иголке, укрепляли самые ненадежные места, показывая заботу обладателя штанов об их предельном долголетии. Подобно Нестору, эти престарелые панталоны прожили три человеческих века. Есть веские основания предполагать, что они были малиновыми, но эта важная подробность ничем не обоснована.

Веревочные подошвы, привязанные синими шнурками к шерстяным чулкам без ступни, служили Пьеру обувью по образцу испанских альпаргат. Предпочтение этим грубым котурнам перед башмаками с помпонами или высокими сапогами, несомненно, было отдано только ввиду их дешевизны, ибо во всех мельчайших подробностях одежды старика и даже в позе его, исполненной угрюмой покорности, чувствовалась бедность, стойкая, суровая и опрятная.

Прислонясь к боковой стенке очага и сложив на коленях большие руки того фиолетового оттенка, какой бывает у виноградных листьев в позднюю осеннюю пору, он неподвижно сидел напротив Вельзевула. А кот с жалким голодным видом примостился на остывшей золе, сосредоточив весь свой интерес на хриплом клокотании котелка.

– Что-то запаздывает нынче наш молодой хозяин, – пробормотал Пьер, вглядываясь сквозь закопченные желтоватые стекла единственного кухонного окна в даль, где на краю неба под грядями тяжелых дождевых туч угасала последняя полоска заката. – Что за охота бродить одному по ландам? Впрочем, по правде сказать, вряд ли где может быть тоскливее, чем здесь, в замке.

Радостный сиплый лай послышался со двора; лошадь на конюшне стала бить копытом и лязгать о край кормушки цепью, за которую была привязана; черный кот, совершавший свой туалет, проводя смоченной слюной лапкой по бакенбардам и остаткам ушей, прервал это занятие и направился к двери, как положено приветливому и воспитанному животному, сознающему свой долг.

Дверь распахнулась; Пьер поднялся, почтительно снял берет, и вновь прибывший показался на пороге в сопровождении пса, о котором уже была речь, – пес этот пытался прыгать, но грузно оседал, отяжелев от старости. Вельзевул не проявил к Мирю той неприязни, какую коты обычно питают к собачьему племени, даже наоборот, поглядывал на него очень дружелюбно, поводя круглыми зелеными глазами и выгибая спину. Видно было, что они

знакомы не первый день и часто коротают вместе время в здешнем уединении.

Вошедший был барон де Сигоньяк, владелец этого полуразрушенного поместья, молодой человек лет двадцати пяти, хотя на первый взгляд он казался старше, настолько строгий и сосредоточенный был у него вид. Сознание бессилия, сопутствующее бедности, согнало улыбку с его лица и стерло со щек бархатистый пушок юности. Вокруг померкших глаз уже залегли тени, и над впалыми щеками явственно выступали скулы; усы не закручивались лихо кверху, а свисали вниз, словно плача над скорбной складкой губ. Небрежно расчесанные волосы спускались вдоль бледного чела прямыми черными прядями, указывая на полное отсутствие кокетства, что так редко в молодом человеке, который легко бы прослыл красивым, если бы совершенно не отказался от желания нравиться. Давнишняя затаенная печаль наложила страдальческий отпечаток на лицо барона, которое могло бы стать очень привлекательным, если бы его скрасило немножко счастья и естественная в такие годы уверенность в себе не поколебалась бы под напором непреодолимых неудач.

От природы ловкий и сильный, молодой барон двигался с такой вялой медлительностью, как будто отрешился от жизни. Каждым своим сонным машинальным движением, всей своей равнодушной повадкой он явно показывал, что ему безразлично, куда идти, где быть.

Непомерно большая старая шляпа из помятого, прорванного серого фетра спускалась ему до бровей, вынуждая задирает нос, чтобы видеть окружающее; общипанное перо, смахивающее на рыбий скелет, вздымалось над тульей шляпы с намерением изобразить султан, но, устыдясь своей дерзости, бессильно опадало сзади к полям. Воротник из старинного гипюра, где ажурные просветы были не только делом рук искусной кружевницы, но и приумножились от ветхости, окружал шею поверх широченного камзола, который явно был сшит на человека более рослого и плотного, нежели тонкий и хрупкий барон. Руки его тонули в рукавах камзола, как в рукавах рясы, а ботфорты с железными шпорами доходили ему до живота. Это причудливое одеяние принадлежало покойному отцу барона, умершему несколько лет тому назад, а теперь сын донашивал платье, которое созрело для старьевщика еще при жизни первого владельца. В таком наряде, надо полагать, весьма модном к началу прошлого царствования, барон имел смешной и вместе с тем трогательный вид, – он казался своим собственным предком. Хотя к памяти отца он питал чисто сыновнее благоговение и ему нередко случалось прослезиться, облачаясь в дорогие реликвии, как будто запечатлевшие в своих складках движения и позы

усопшего, однако молодому Сигоньяку не так уж нравилось ходить в отцовских обносках. Просто другого платья у него не было, и он обрадовался, найдя на дне сундука наследство такого рода. Его собственная отроческая одежда стала ему мала и узка, а отцовская по крайней мере не стесняла движений. Крестьяне, привыкнув чтить эту одежду на старом бароне, не находили ее смешной и на сыне и смотрели на нее с тем же почтением; они одинаково не замечали ни дыр на полах кафтана, ни трещин на стенах замка. При всей своей бедности Сигоньяк в их глазах по-прежнему был владетельным господином, и упадок этого знатного рода не поражал их так, как поразил бы посторонних, а между тем поистине странное, и грустное и забавное, зрелище являл молодой барон в старых отрепьях на старой кляче, в сопровождении старого пса, точь-в-точь рыцарь смерти с гравюры Альбрехта Дюрера.

Ответив приветливым движением руки на почтительный поклон Пьера, барон молча сел к столу.

Старик снял с крюка котелок, вылил содержимое в глиняную миску на покрошенный заранее хлеб и поставил ее перед бароном – такую деревенскую похлебку до сих пор едят в Гасконии, – потом достал из шкафа кусок студня, дрожавшего на салфетке, посыпанной маисовой мукой, и водрузил на стол дощечку с этим излюбленным здесь кушаньем, которое вместе с похлебкой, куда был брошен кусок сала, – судя по малому своему объему украденный из мышеловки, – составило скудную трапезу барона. Он ел с рассеянным видом, а Миро и Вельзевул расположились по обеим сторонам его стула, в экстазе подняв морды и ожидая, не перепадет ли им что-нибудь с пиршественного стола. Время от времени барон бросал Миро кусок хлеба, от соприкосновения с ломтиками сала приобретшего мясной запах, и пес ловил кусок на лету. Кожица от сала досталась коту, который выразил удовольствие глухим урчанием, подняв при этом лапу с выпущенными когтями, вероятно, чтобы защитить драгоценную добычу.

Кончив этот убогий ужин, барон погрузился в тягостное раздумье или отвлекся далеко не веселыми заботами. Миро положил голову на колени хозяину и устремил на него старческие глаза, подернутые голубоватой дымкой, в которых, однако, мерцала искра почти человеческого разума. Казалось, он понимает мысли барона и пытается выразить ему свое сочувствие. Вельзевул то мурлыкал так громко, что заглушил бы прялку большеногой Берты, то жалобно мяукал, желая привлечь рассеянное внимание хозяина. Пьер стоял поодаль, застыл в неподвижности, напоминая те вытянутые в длину гранитные статуи, что

украшают соборные порталы, и почтительно выжидал, когда господин его, очнувшись от дум, соблаговолит дать какое-нибудь распоряжение.

Тем временем ночь уже надвинулась и густые тени скопились в углах кухни, подобно летучим мышам, которые цепляются за карнизы когтями своих перепончатых крыльев. Последние искры огня, которые раздувал шквалистый ветер, врываясь в трубу, бросали красочные блики на группу вокруг стола, связанную между собой печальным содружеством, еще сильнее подчеркивавшим унылое безлюдие замка. От семьи, некогда могущественной и богатой, остался один-единственный отпрыск, точно тень бродивший по замку, населенному лишь призраками предков; из многочисленной дворни сохранился всего один лакей, который служил своему господину из чистой преданности и никем не мог быть заменен; от своры в тридцать гончих уцелел один только пес, дряхлый и полуслепой, а черный кот как бы воплощал душу пустынного жилища.

Барон знаком показал Пьеру, что желает удалиться. Тот зажег об угли очага просмоленную лучину, – удешевленный образец светильника, которым пользуются неимущие крестьяне, – и отправился вперед, чтобы освещать путь своему господину; Миро и Вельзевул присоединились к шествию; в дымном неверном свете факела колыхались поблекшие фрески на стене вдоль лестницы, а в столовой как будто оживали лица на закопченных портретах, их черные неподвижные глаза, казалось, с жалостью глядели вслед незадачливому потомку.

Когда шествие достигло фантастической спальни, уже описанной нами, старый слуга, подойдя к медному светильнику с одной горелкой, зажег фитиль, изогнувшийся в масле, как глист в спирту, выставленный у аптекаря, после чего удалился в сопровождении Миро. Вельзевул, который пользовался особыми привилегиями, устроился на одном из двух кресел. Барон опустил на второе, удрученный одиночеством, бездельем и скукой.

Если комната и днем представлялась обиталищем привидений, то вечером в зыбком свете медной лампочки дело обстояло куда хуже. Шпалеры принимали мертвенный оттенок, а освещенный охотник точно оживал на фоне темной зелени. Прицелившись из аркебузы, он, как убийца, караулил жертву, и красные губы еще ярче выступали на его бледном лице. Казалось, это рот вампира, обогранный кровью.

От сырости огонек лампы потрескивал, то вспыхивая, то затухая, ветер гудел в коридорах, как орган, и непонятные жуткие шумы раздавались в пустынных комнатах.

Погода испортилась, крупные дождевые капли барабанили в стекла окон, и те дребезжали, сотрясаемые шквалом. Казалось, оконная рама вот-вот поддастся и распахнется, словно ее кто-то толкал снаружи. Это буря наваливалась на утлую преграду. Временами, вступая в общий хор, одна из сов, гнездившихся под крышей, испускала пронзительный крик, похожий на вопль ребенка, которого режут, или сердито стучала крыльями в освещенное окно.

Но владелец печального замка, привычный к этой зловещей музыке, не обращал на нее ни малейшего внимания. Только Вельзевул с беспокойством, присущим животным его породы, при всяком шорохе настораживал остатки ушей и пристально вглядывался в темные углы, словно различал в них нечто незримое для не приспособленного ко мраку человеческого глаза. Этот кот, ясновидец с дьявольским именем и обличем, привел бы в трепет всякого менее храброго, нежели барон; судя по загадочной mine кота, немало удивительного должно было открыться ему во время ночных прогулок по чердакам и нежилым покоям замка, и не раз, надо полагать, где-нибудь в дальнем конце коридора бывали у него встречи, от которых у человека вмиг побелели бы волосы.

Сигоньяк взял со стола книжечку с вытисненным на потертом переплете фамильным гербом и стал машинально перелистывать ее. Глаза его прилежно скользили по строчкам, но мысли были далеко и не желали сосредоточиться на одах и любовных сонетах Ронсара, невзирая на их превосходные рифмы и хитроумные повороты, возрождающие искусство греков. Вскоре он отбросил книгу и начал расстегивать камзол медлительными движениями человека, который не хочет спать и ложится от нечего делать, надеясь в дремоте утопить скуку. Темной дождливой ночью в разоренном замке, затерянном в океане вереска, так тоскливо слушать падение песчинок на дно песочных часов, когда на десять миль в окружности нет ни одной живой души.

И в самом деле, у молодого барона, единственного на земле представителя рода Сигоньяков, было достаточно поводов для грусти. Его предки расстраивали свое состояние на разные лады: одних разоряла игра, других – война, третьих – суетное желание пускать пыль в глаза, в итоге каждое поколение передавало последующему все скудевшее достояние. Фьефы, мызы, фермы и земли, принадлежавшие к замку, отпадали одни за другими, и, употребив невероятные

усилия, чтобы восстановить благосостояние семьи, усилия, оказавшиеся тщетными, ибо поздно затыкать пробоины, когда судно идет ко дну, – предпоследний Сигоньяк не оставил в наследство сыну ничего, кроме разрушающегося замка и нескольких десятин бесплодной земли вокруг него; остальное досталось кредиторам и ростовщикам.

Тощие руки нищеты качали колыбель ребенка, и высохшие сосцы питали его. В раннем возрасте, лишившись матери, которая зачахла в этом обветшалом доме от скорбных мыслей о незавидной участи сына, он не видел ласковой и любовной заботы, окружающей детей даже в самых неимущих семьях. Отец, которого он все же искренне оплакивал, выражал свое внимание пинками в зад и приказами высечь мальчика. Теперь же скука так одолевала молодого барона, что он только порадовался бы, если бы отец вновь поучил его на свой лад, потому что отцовские колотушки, которые сын вспоминал, умиляясь до слез, – это тоже вид общения с себе подобными, а четыре года после того, как старый барон упокоился под каменной плитой в фамильном склепе Сигоньяков, молодой человек жил в полном одиночестве. Юношеской гордости барона претило появляться перед местной знатью на празднествах и охотах без приличествующей его званию экипировки.

И в самом деле, что сказали бы люди при виде барона де Сигоньяка, обряженного, как бродяга с большой дороги или сборщик яблок в Перше? Эта же причина помешала ему наняться в услужение к какому-нибудь владетельному князю. Потому-то многие полагали, что род Сигоньяков угас, и забвение, вырастающее над мертвецами быстрее, чем трава, стирало память об этой семье, некогда влиятельной и богатой, и мало кто знал, что существует еще отпрыск этого захиревшего рода.

Уже несколько минут Вельзевул проявлял признаки беспокойства, он поднимал голову, водил носом, словно чуя опасность, он тянулся к окну, упираясь лапками о раму, и пытался взглядом проникнуть в густую темень ночи, исполосованную стремительными потоками ливня; его наморщенный нос ходил ходуном. Протяжное рычание Миро, нарушившее тишину, подкрепило тревожную мимику кота, – положительно в окрестностях замка, всегда столь спокойных, творилось нечто необычное. Миро продолжал лаять со всей доступной при хронической хрипоте силой. Барон, не желая быть захваченным врасплох, поднялся и застегнул только что расстегнутый камзол.

– Что это вздумалось Миро поднять такой шум? Обычно-то он с самого заката храпит у себя в конуре, как пес семи спящих отроков. Может статься, волк пробрался к ограде? – произнес молодой человек, снимая со стены шпагу с массивной железной чашкой и затягивая до последнего отверстия поясной ремень, который был сделан по мерке старого барона и мог дважды обвить стан его сына.

Три сильных удара с правильными промежутками сотрясли входную дверь и стоном отозвались в пустынных покоях.

Кто мог в такой поздний час нарушить одиночество замка и тишину ночи? Какой незадачливый путник задумал постучать в эту дверь, давно уже не открывавшуюся навстречу посетителю, не из-за недостатка гостеприимства, а за отсутствием гостей? Кто искал приюта в этой харчевне голода, в этой цитадели великого поста, в этом убежище скудости и нищеты?

II

Повозка Феспиды

Сигоньяк спустился с лестницы, рукой защищая пламя лампы от порывов ветра, грозившего загасить ее. Отблеск огонька пронизывал его исхудалые пальцы, делая их прозрачно-розовыми, и, хотя на дворе была ночь и следом за ним не солнце вставало, а плелся черный кот, все же он с полным правом мог присвоить себе тот эпитет, которым старик Гомер наградил богиню Аврору.

Сняв тяжелый болт и приоткрыв подвижную створку двери, он очутился лицом к лицу с каким-то незнакомцем. Когда барон поднял лампу к самому его носу, из темноты выступила довольно странная физиономия: на свету и дожде голый череп отливал желтоватым масляным глянцем. Седая каемка волос прилипла к вискам; нос, украшенный угрями и рдевший пурпуром виноградного сока, произрастал в виде луковицы между двумя разномастными глазками, прикрытыми густейшими и неестественно черными бровями; дряблые щеки были усеяны багровыми пятнами и пронизаны красными прожилками; толстогубый рот пьяницы и сатира и подбородок с бородавкой, из которой во все стороны торчала жесткая щетина, дополняли облик, достойный быть изваянным в виде

маски чудовища под карнизом Нового моста. Своего рода добродушное лукавство смягчало эти мало привлекательные на первый взгляд черты. Кроме того, сощуренные щелки глаз и растянутые до ушей углы губ пытались изобразить любезную улыбку. Эта физиономия шута, как на блюде поданная на брыжах сомнительной белизны, венчала тощую фигуру в черном балахоне, которая изогнулась дугой, отвешивая преувеличенно учтивый поклон.

Покончив с приветствиями, забавный посетитель предупредил вопрос, готовый сорваться с уст барона; несколько напыщенным и высокопарным тоном он произнес:

– Благоволите извинить меня, государь мой, за то, что я позволил себе постучаться в двери вашего замка, несмотря на столь поздний час и не послав вперед пажа или карлика, трубящего в рог. Но необходимость не знает законов и вынуждает самых светских людей совершать величайшие проступки против вежливости.

– Что вам надобно? – сухо прервал барон разглагольствования старого чудака.

– Пристанище для меня и для моих братьев, принцев и принцесс, Леандров и Изабелл, лекарей и капитанов, путешествующих из города в город на колеснице Феспиды, колеснице, влекомой волами по античному образцу, ныне же завязшей в грязи близ вашего замка.

– Если я верно вас понял, вы – странствующие комедианты и сейчас сбились с пути?

– Трудно яснее истолковать смысл моих слов, вы попали в самую точку, – ответил актер. – Надеюсь, ваша милость не отклонит моей просьбы?

– Хотя жилище у меня порядком запущено и я мало чем могу вас убоготворить, все же здесь вам будет несколько лучше, чем под открытым небом в проливной дождь.

Педант – таково, по-видимому, было его амплуа в труппе – поклоном выразил свою благодарность.

Во время этого диалога Пьер, разбуженный лаем Миро, поднялся и тоже поспешил к дверям. Узнав о том, что тут происходит, он зажег фонарь, и все трое направились к увязшей в грязи повозке.

Фат Леандр и забияка Матамор толкали повозку сзади, а Тиран понукал волов своим трагедийным кинжалом. Актрисы, кутаясь в длинные мантильи, ужасались, охали и взвизгивали. Благодаря неожиданному подкреплению, а главное, умелой помощи Пьера, тяжелую колымагу удалось вскорости выволочь и направить на твердую почву, после чего она, проехав под стрельчатым сводом, достигла замка и была поставлена во дворе.

Волов распрягли и водворили на конюшне рядом с белой клячей; актрисы спрыгнули с повозки и, расправив смятые фижмы, последовали за Сигоньяком наверх, в столовую, более других комнат сохранившую жилой вид. Набрав в сарае охапку дров и вязанку хвороста, Пьер бросил их в камин, где они разгорелись веселым пламенем. Хотя стояло всего лишь начало осени, однако не мешало подсушить у огонька отсыревшие одежды приезжих дам; да и ночь была прохладная, и ветер свистел в растрескавшихся панелях почти необитаемой комнаты.

Комедианты, привыкшие в своей кочевой жизни ночевать где попало, все же с удивлением взирали на это странное обиталище, казалось, давно уже отданное человеком во власть духам и невольно представлявшееся местом действия жестоких трагедий. Однако, будучи людьми благовоспитанными, они не обнаружили ни испуга, ни изумления.

– Я могу предложить вам лишь сервировку, – сказал молодой барон, – моих запасов не хватит и на то, чтобы насытить мышонка. Я живу здесь в полном одиночестве, никого не принимаю, и вам должно быть ясно даже без моих слов, что Фортуна давно отлетела отселе.

– Не тревожьтесь этим, – возразил Педант, – на театре нас потчуют картонными пулярами и вином из трухлявых деревяшек, зато для обычной жизни мы обеспечиваем себя более сытными кушаньями. Бутафорское жаркое и воображаемый напиток – слабое подспорье для наших желудков, и у меня, как у провиантмейстера труппы, всегда имеется в запасе то ли окорок байоннской ветчины, то ли паштет из дичи, а то и филейная часть ривьерской телятины и в придачу с дюжину бутылок кагора и бордо.

– Золотые слова, Педант! – воскликнул Леандр. – Ступай принеси провизию, и если любезный хозяин позволит и согласится сам откусать с нами, мы прямо тут и приготовим пиршественный стол. В здешних поставцах найдется вдоволь посуды, а наши дамы расставят приборы.

Еще не вполне придя в себя от неожиданности, барон жестом выразил согласие. Изабелла и донна Серафина, сидевшие подле огня, встали и принялись хлопотать у стола, после того как Пьер смахнул с него пыль и постелил старенькую, но чистую скатерть.

Вскоре появился Педант, неся в каждой руке по корзине, и торжествуя водрузил посреди стола крепость со стенами из подрумяненного теста, в недрах которой скрывался целый гарнизон перепелов и куропаток. Эту гастрономическую твердыню он окружил шестью бутылками, как бастионами, которые надо одолеть, прежде чем добраться до самой крепости. Копченые говяжьи языки и ветчина были поставлены по обе ее стороны.

Вельзевул взобрался на один из буфетов и с любопытством следил сверху за непривычными приготовлениями, стараясь насладиться хотя бы запахом этих дивных изобильных яств. Его нос, похожий на трюфель, впитывал ароматные испарения, зеленые глаза сверкали восторгом, подбородок был посеребрен слюной вождения. Он не прочь был приблизиться к столу и принять участие в трапезе, достойной Гаргантюа и решительно идущей вразрез обычному здесь подвижническому воздержанию; но его пугали незнакомые лица, и трусость брала верх над жадностью.

Находя, что свет лампы недостаточно ярок, Матамор достал из повозки два бутафорских шандала из дерева, оклеенного золоченой бумагой, с несколькими свечами в каждом, отчего освещение стало, можно сказать, роскошным. Эти шандалы, по форме напоминавшие библейские семисвечники, ставились на алтарь Гименея в финале феерий или на пиршественный стол в «Марианне» Мэре и в «Иродиаде» Тристана.

От них и от пылающих сучьев мертвая комната как будто ожила. Розовые блики окрасили бледные лица на портретах, и пусть добродетельные вдовицы в тугих воротничках до подбородка, в чопорных робронах поджимали губы, глядя, как молодые актрисы резвятся в этом суровом замке, зато воины и мальтийские рыцари, казалось, улыбались им из своих рам и рады были присутствовать при веселой пирушке; исключение составляли двое-трое седовласых старцев с

надутой миной под желтым лаком, невзирая ни на что хранивших то злобное выражение, какое придал им живописец.

В огромной зале, обычно пропитанной могильным запахом плесени, повеяло жизнью и теплом. Обветшание мебели и обоев стало менее заметно, бледный призрак нищеты, казалось, на время покинул замок.

Сигоньяк, поначалу неприятно пораженный происшедшим, теперь отдался во власть сладостных ощущений, не изведанных ранее. Изабелла, донна Серафина и даже Субретка приятно волновали его воображение, представляясь ему скорее божествами, сошедшими на землю, нежели простыми смертными. Они в самом деле были прехорошенькими женщинами, способными увлечь даже не такого неискушенного новичка, как наш барон. Ему же все это казалось сном, и он ежеминутно боялся проснуться.

Барон повел к столу донну Серафину и усадил ее по правую свою руку. Изабелла заняла место слева, Субретка напротив, Дуэнья расположилась возле Педанта, а Леандр и Матамор уселись кто куда. Теперь молодому хозяину была дана полная возможность рассмотреть лица гостей, рельефно выступающие на ярком свете. Прежде всего его внимание обратилось на женщин, а потому уместно будет вкратце обрисовать их, пока Педант пробивает брешь на подступах к пирогу.

Серафина была молодая женщина лет двадцати четырех – двадцати пяти; привычка играть героинь наделила ее манерами и жеманством светской кокетки. Слегка удлиненный овал лица, нос с горбинкой, выпуклые серые глаза, вишневый рот с чуть раздвоенной, как у Анны Австрийской, нижней губой придавали ей приятный и благородный вид, чему способствовали и пышные каштановые волосы, двумя волнами ниспадавшие вдоль щек, которые от оживления и тепла рдели сейчас нежным румянцем. Длинная прядка, именуемая усиком и подхваченная тремя черными шелковыми розетками, отделялась с каждой стороны от завитков куафюры, оттеняя ее воздушное изящество и уподобляясь завершающим мазкам, которые художник наносит на картину. Голову Серафины венчала лихо посаженная фетровая шляпа с круглыми полями и с перьями, из коих одно спускалось ей на плечи, а остальные были круто завиты; отложной воротник мужского покроя, обшитый алансонским кружевом, и такой же, как на усиках, черный бант обрамляли ворот зеленого бархатного платья с обшитыми позументом прорезями на рукавах, сквозь которые виднелся второй, сборчатый кисейный рукав; белый шелковый шарф, переброшенный через плечо, подчеркивал кричащее щегольство наряда.

В этом франтовском уборе Серафина очень подходила для ролей Пентесилеи или Марфизы, для дерзких походов и для комедий плаща и шпаги. Конечно, все это было не первой свежести, бархат на платье местами залоснился от долгого употребления, воротник смялся, при дневном свете всякий бы заметил, что кружева порыжели; золотое шитье на шарфе, если приглядеться, стало бурым и отдавало явной мишурой; позумент кое-где протерся до ниток, помятые перья вяло трепыхались на полях шляпы, волосы слегка развились, и соломинки из повозки самым жалостным образом вплелись в их великолепие.

Однако эти досадные мелочи не мешали донне Серафине иметь осанку королевы без королевства. Если одежда ее была потрепана, то лицо дышало свежестью, а кроме того, этот туалет казался ослепительным молодому барону де Сигоньяку, непривычному к такой роскоши и видевшему на своем веку лишь крестьянок в юбках из грубой шерсти и в коломянковых чепцах. К тому же он был слишком занят глазами красотки, чтобы обращать внимание на изъяны ее наряда.

Изабелла была моложе донны Серафины, как того и требовало амплуа простушки. Она не позволяла себе рядиться кричаще, довольствуясь изящной простотой, приличествующей дочери Кассандра, девице незнатного рода. У нее было миловидное, почти детское личико, шелковистые русые волосы, затененные длинными ресницами глаза, ротик сердечком и девическая скромность манер, скорее естественная, нежели наигранная. Корсаж из серой тафты, отделанный черным бархатом и стеклярусом, спускался мысом на юбку того же цвета. Гофрированный воротник поднимался сзади над грациозной шеей, где колечками вились пушистые волосы, а вокруг шеи была надета нитка фальшивого жемчуга. Хотя с первого взгляда Изабелла меньше привлекала внимание, чем Серафина, зато дольше удерживала его. Она не ослепляла – она пленяла, что, безусловно, более ценно.

Субретка полностью оправдывала прозвище *morena*, которое испанцы дают черноволосым женщинам. Кожа у нее была золотисто-смуглого оттенка, свойственного цыганкам. Жесткие курчавые волосы были чернее преисподней, а карие глаза искрились бесовским лукавством. Между яркими пунцовыми губами ее большого рта то и дело белой молнией вспыхивал оскал зубов, которые сделали бы честь молодому волку. Словно опаленная зноем страсти и огнем ума, она была худа, но той молодой здоровой худобой, которая только радуется взор. Без сомнения, она и в жизни и на театре наловчилась получать и передавать любовные записки; какой же уверенностью в своих чарах должна была обладать дама, пользующаяся услугами подобной субретки. Немало пылких признаний,

проходя через ее руки, не попали по назначению, и не один волокита, забыв о возлюбленной, замешкался в передней. Она была из тех женщин, которые некрасивы в глазах подруг, но неотразимы для мужчин и будто сделаны из теста, сдобренного солью, перцем и пряностями, что не мешает им проявлять хладнокровие ростовщика, чуть дело коснется их интересов. На ней был фантастический наряд, синий с желтым, и мантилья из дешевых кружев.

Тетка Леонарда, «благородная мать» труппы, была одета во все черное, как полагается испанским дуэньям. Тюлевая оборка чепца окружала ее обрюзгшее лицо с тройным подбородком, как бы изъеденное сорока годами гримировки. Желтизна старой слоновой кости и лежалого воска свидетельствовала о болезненности ее полноты – скорее признака преклонных лет, чем здоровья. Глаза, словно два черных пятна на этом мертвенно-бледном лице, хитро поблескивали из-под дряблых век. Углы рта были оттенены темными волосками, которые она тщательно, но тщетно выщипывала; лицо это почти совсем утратило женственные черты, а в морщинах его запечатлелось немало всяческих похждений, только вряд ли кто стал бы до них доискиваться. Леонарда с детства была на подмостках, познала все превратности этого ремесла и последовательно переиграла все роли, кончая ролями дуэний, с которыми так неохотно мирится женское кокетство, не желающее видеть разрушительные следы годов. Обладая недюжинным талантом, Леонарда при всей своей старости умудрялась срывать рукоплескания даже рядом с молоденькими и хорошенькими товарками, которых удивляло, что одобрение публики относится к этой старой ведьме.

Таков был женский персонал труппы. В ней имелись все персонажи комедии, а если исполнителей не хватало, то в пути всегда удавалось подобрать какого-нибудь бродячего актера или любителя, которому лестно было сыграть хотя бы маленькую роль и заодно приблизиться к Анжеликам и Изабеллам. Мужской персонал составляли описанный выше Педант, к которому незачем больше возвращаться, затем Леандр, Скапен, трагик Тиран и хвостун Матамор.

Леандр, по должности призванный превращать в кротких овечек даже гирканских тигриц, брать верх над Эргастами, дурачить Труффальдино и проходить через все пьесы торжествующим победителем, был молодой человек лет тридцати, но на вид казался почти юношей, благодаря неустанным заботам о своей наружности. Нелегкое дело олицетворять в глазах зрительниц любовника – это загадочное и совершенное существо, которое каждый создает по своему произволу, руководствуясь «Амадисом» или «Астреей». Потому-то наш

Леандр усердно мазал физиономию спермацетом, а к вечеру посыпал тальком; брови его, из которых он выщипывал непокорные волоски, казались чертой, наведенной тушью, а к концу сходили на нет, зубы, начищенные донельзя, блестели, как жемчужины, и он поминутно обнажал их до самых десен, пренебрегая греческой пословицей, которая гласит, что нет ничего глупее глупого смеха. Товарищи его утверждали, что для авантажности он слегка румянился даже вне сцены. Черные волосы, тщательно завитые, спускались у него вдоль щек блестящими спиралями, несколько пострадавшими от дождя, что давало ему повод навивать их на палец, показывая холеную белую руку, на которой сверкал бриллиант, слишком большой для настоящего. Отложной воротник открывал округлую белую шею, выбритую так, что под горлом не осталось ни намека на растительность. Каскад относительно чистой белой кисеи ниспадал от камзола до панталон, перевитых ворохом лент, о сохранности которых он, видимо, очень заботился. Он смотрел взором без памяти влюбленного даже на стенку и напиток просил замирающим голосом. Каждую фразу он сопровождал томным вздохом и, говоря о самых обыкновенных предметах, преуморительно жеманничал и закатывал глаза; однако женщины находили его ужимки обольстительными.

У Скапена была заостренная лисья мордочка, хитрая и насмешливая, вздернутые под углом брови, резвые живчики-глаза, желтые зрачки которых мерцали, как золотая точка на капле ртути; лукавые морщинки в углах век таили бездну лжи, коварства и плутовства, тонкие подвижные губы неустанно шевелились, открывая в двусмысленной ухмылке острые и кровожадные клыки; когда он снимал белый в красную полоску берет, под остриженными ежиком волосами обнаруживался шишковатый череп, а сами волосы, рыжие и свалявшиеся, как волчья шерсть, дополняли весь его облик, напоминающий злокозненного зверя. Так и тянуло взглянуть, не видно ли на руках этого молодчика мозолей от весел, потому что он явно какой-то срок писал свои мемуары на волнах океана пером длиной в пятнадцать футов. Его голос внезапно со странными модуляциями и взвизгами переходил с высоких нот на низкие, озадачивая слушателей и вызывая у них невольный смех; его жесты, неожиданные, порывистые, как от действия скрытой пружины, пугали своей несуразностью и, по-видимому, преследовали цель удержать внимание собеседника, а не выразить какую-то мысль или чувство. Это были маневры лисы, без конца кружащей под деревом, не давая опомниться тетереву, который сверху не спускает с нее глаз, прежде чем свалится ей в пасть.

Из-под его серого балахона виднелись полосы традиционного костюма, который он не успел сменить после недавнего представления; а может, за скудостью

гардероба, он носил в жизни то же платье, что и на сцене.

Что до Тирана, то это был большой добряк, которого природа, надо полагать, в шутку, наделила всеми внешними признаками свирепости. Никогда еще столь кроткая душа не была заключена в столь богопротивную оболочку. Сходящиеся над переносицей черные косматые брови в два пальца шириной, курчавые волосы, густая борода до самых глаз, которую он не брил, чтобы не нуждаться в накладной, играя Иродов и Полифонтов, темная, будто дубленая кожа – все, вместе взятое, делало его наружность такой грозной и страшной, какой художники любят наделять палачей и их подручных в мучениях апостола Варфоломея или усекновениях главы Иоанна Крестителя. Зычный голос, от которого дребезжали оконные стекла и подпрыгивали стаканы на столе, усугублял впечатление ужаса, производимое этим страшилищем, облаченным в допотопный черный бархатный кафтан; недаром публика обмирала, когда он, рыча и завывая, читал стихи Гарнье и Скюдери. Кстати, брюхо у него было внушительное, способное заполнить любой трон.

Актер на ролях забияки и хвастуна был худ, костляв, черен и сух, как висельник летом; кожа у него казалась пергаментом, наклеенным на костяк; огромный нос, похожий на клюв хищной птицы, с горбинкой, блестящей, точно рог, перегораживал пополам вытянутую физиономию, которую еще удлиняла остроконечная бородка. Из этих двух профилей, склеенных друг с другом, еле-еле получалось лицо, а глаза, чтобы поместиться на нем, были по-китайски скошены к вискам. Подбритые черные брови загибались запятой над бегающими глазами, а непомерно длинные усы, напояженные на концах, были закручены кверху и грозили небу своими острями; оттопыренные уши смахивали на ручки горшка и служили мишенью для щелчков и оплеух. Весь этот нелепый облик, скорее похожий на карикатуру, чем на живого человека, казалось, был вырезан каким-то шутником на грифе трехструнной скрипки или срисован с тех диковинных птиц и зверей, которые, на радость обжорам, светятся по вечерам в фонарях перед лавкой пирожника. Ужимки хвастуна и забияки Матамора стали его второй натурой, и, даже сойдя с подмостков, он выступал, расставляя ноги циркулем, задрал голову, подбоченясь одной рукой, а другую положив на эфес шпаги. Наряд его составлял желтый камзол, выгнутый в форме кирасы, отороченный зеленым, с поперечными прорезями на испанский лад; крахмальный, торчащий при помощи проволоки и картона воротник величиной с круглый стол, за которым могли бы пировать все двенадцать паладинов; панталоны, собранные в буфы, белые козловые ботфорты, в которых его петушиные ноги болтались, как флейты в футлярах, когда их уносит странствующий музыкант, и, наконец, гигантская рапира, с которой Матамор не

расставался никогда, хотя ее кованный ажурный эфес весил не меньше пятидесяти фунтов; поверх всего этого облачения он для пущей важности драпировался в плащ, край которого задирался от шпаги. Не желая ничего упустить, добавим, что два петушиных пера, разветвленных, как убор роноосца, презабавно торчали на его серой фетровой шляпе с тульей, вытянутой в виде реторты.

Ремесло писателя уступает ремеслу живописца в том, что он может показывать предметы лишь последовательно. Достаточно было бы беглого взгляда, чтобы охватить картину, в которой художник сгруппировал бы за столом всех обрисованных нами персонажей; там запечатлелись бы все блики света и тени, разнообразные позы с присущим каждой фигуре колоритом, и мельчайшие подробности костюма, недостающие нашему описанию, и без того длинному, как ни старались мы сделать его покороче; но надо же нам было познакомить вас с труппой комедиантов, так неожиданно вторгнувшихся в уединенный замок Сигоньяка.

Начало ужина прошло в молчании; большой аппетит, как и большое чувство, всегда безмолвен. Но когда первый, самый лютый голод был утолен, языки развязались. Молодой барон, должно быть, не наедавшийся досыта с тех пор, как его отняли от груди, хоть и желал казаться перед Серафиной и Изабеллой мечтательным и влюбленным, однако поедал, или, вернее, пожирал, все кушанья с величайшей алчностью, – трудно было поверить, что он уже поужинал. Педанта забавляла такая юношеская ненасытность, и он все подкладывал на тарелку хозяина замка крылышки куропаток и ломти ветчины, и они тотчас же исчезали, как хлопья снега на раскаленном железе. Вельзевул, у которого жадность взяла верх над страхом, решил покинуть свой неприступный пост на карнизе поставца, резонно рассудив, что за уши оттрепать его трудно по причине отсутствия ушей, так же как вряд ли возможно проделать с ним шутку дурного тона, привязав ему к хвосту кастрюлю, ибо без наличия такового немисливо и столь вульгарное озорство, недостойное людей благовоспитанных, какими казались гости, сидевшие вокруг стола, заставленного сочнеешими и благоуханнейшими яствами. Он прокрался к столу, прячась в тени и распластавшись так, что сгибы его лап торчали, как локти над туловищем, – точь-в-точь пантера, подстерегающая газель. Добравшись до стула, на котором сидел Сигоньяк, он поднялся и, чтобы привлечь внимание хозяина, всеми десятью когтями принялся скрести его колено, будто играл на гитаре. Сигоньяк, снисходительный к смиренному другу, который столько времени терпел голод, служа своему господину верой и правдой, не замедлил разделить с ним удачу, бросая ему под стол кости и объедки, которые кот

принимал с бурной признательностью. Пес Миро проник в пиршественную залу вслед за Пьером и тоже получил немало лакомых кусков.

Жизнь словно возвратилась в мертвое жилище, наполнив его светом, теплом и шумом. Актрисы, хлебнув по глотку вина, стрекотали, как сороки на ветках, превознося таланты друг друга. Педант и Тиран спорили о сравнительных достоинствах пьесы комической и пьесы трагической, – один утверждал, что куда труднее вызвать у почтенных зрителей смех, нежели напугать их нянюшкиными сказками, у которых нет иных преимуществ, кроме старины, другой же доказывал, что шутки и прибаутки, сочиняемые комедиографами, принижают самого автора.

Леандр достал из кармана зеркальце и смотрелся в него с таким же самодовольством, как блаженной памяти Нарцисс в воды ручья. Наперекор своим ролям, Леандр не был влюблен в Изабеллу – он метил выше. Авантажной наружностью, великосветскими манерами он надеялся прельстить какую-нибудь пылкую аристократическую вдовушку, чья карета, запряженная четверней, подхватит его у выхода из театра и умчит в замок, где чувствительная красавица будет его дожидаться в соблазнительном неглиже, перед столом с самыми изысканными кушаньями. Осуществилась ли его мечта хоть раз? Леандр утверждал, что да... Скапен отрицал, и это возбуждало между ними нескончаемые споры. Несносный слуга, проказливый, как мартышка, уверял, что сколько бы бедняга ни стрелял глазами, бросая в ложи убийственные взгляды, ни смеялся, скаля все тридцать два зуба, сколько бы ни играл мускулами ног, ни изгибал стан, приглаживал гребешочком волосы парика и менял белье к каждому представлению, лишая себя завтрака, чтобы заплатить прачке, – все же до сих пор он не вызвал вожеления ни у одной знатной дамы, даже сорокапятилетней, с красными пятнами и волосатыми бородавками на лице.

Поймав Леандра на созерцании своей персоны, Скапен ловко возобновил привычный спор, и разъяренный фат предложил пойти отыскать среди багажа баульчик с раздушенными мускусом и росным ладаном любовными записочками, полученными им от целой толпы высокородных особ – графинь, маркиз и баронесс, воспылавших к нему страстью; и это не было пустой похвалой, ибо порочная склонность к гаерам и комедиантам была довольно распространена в тот век распущенных нравов. Серафина заявила, что на месте этих знатных дам она велела бы отстегать Леандра за дерзость и болтливость, а Изабелла в шутку пригрозила, что не пойдет за него замуж в конце пьесы, если он не будет поскромнее.

Сигоньяк же, хотя ужасное смущение тисками сдавило ему горло и мешало говорить связно, не мог скрыть, как он восхищен Изабеллой, и глаза его были красноречивее уст. Девушка, заметив, какое впечатление она производит на барона, отвечала ему томными взглядами, к великому неудовольствию Матамора, втайне влюбленного в нее, впрочем, без всякой надежды на взаимность, ввиду его комического ампуа. Всякий другой, более ловкий и дерзкий, чем Сигоньяк, повел бы себя решительнее; но наш бедный барон не обучился придворным манерам в своем обветшалом замке и, хотя не страдал недостатком ума и образования, сейчас имел довольно глупый вид.

Все десять бутылок были добросовестно опорожнены, и Педант перевернул последнюю, осушив ее до дна; Матамор верно понял этот жест и отправился за новой партией бутылок, оставшихся внизу в повозке. Барон уже слегка охмелел, однако не мог удержаться, чтобы не поднять за здоровье дам полный бокал, доконавший его.

Педант и Тиран пили, как истые пьяницы, которые никогда не бывают ни совсем трезвы, ни совсем пьяны; Матамор был по-испански воздержан и мог бы существовать, как те идальго, что обедают тремя оливками и ужинают серенадой под мандолину. Такая умеренность имела веские основания: он боялся есть и пить всласть, чтобы не утратить свою феноменальную худобу – лучшее из его комических средств. Полнота нанесла бы урон его дарованию, а потому он, чтобы существовать, постоянно умирал с голоду и в страхе то и дело проверял, сходится ли на нем пояс, не пополнел ли он, чего доброго, со вчерашнего дня. Тантал по своей воле, актер-трезвенник, мученик во имя худобы, ходячий анатомический препарат, он жил впроголодь, и, постись он с благочестивой целью, ему был бы уготован рай, как святым отшельникам Антонию и Макарию. Дуэнья поглощала пищу и питье в невероятных количествах, ее дряблые щеки и тройной подбородок ходили ходуном от работы челюстей, пока еще оснащенных зубами. Что касается Серафины и Изабеллы, то они зевали наперебой и, за неимением веера, прикрывали рот своими прозрачными пальчиками. Сигоньяк, заметив это, несмотря на винные пары, обратился к ним:

– Сударыни, я вижу, вам до смерти хочется спать, хотя вежливость вынуждает вас бороться со сном. Я охотно предоставил бы каждой из вас по обитой штофом комнате с туалетной и альковом, но мое злосчастное жилище пришло в упадок, как и мой род, от которого остался я один. Я уступаю вам свою спальню, чуть ли не единственную комнату, где не течет с потолка; вы разместитесь там втроем с

госпожой Леонардой, у меня кровать широкая, и вы кое-как скоротаете ночь. Мужчины останутся здесь и устроятся на скамьях и креслах. Только не бойтесь ни шороха обоев, ни воя ветра в трубе, ни беготни мышей; могу вас заверить, что, при всей мрачности моего дома, привидений в нем не водится.

– Я играю воинственных героинь и ничего не боюсь. Я подбодрю трусишку Изабеллу, – смеясь, ответила Серафина. – А Дуэнья и сама у нас немножко колдунья, и если к нам явится черт, она даст ему достойный отпор.

Сигоньяк взял светильник и проводил дам в спальню, на самом деле вселявшую жуть, – ветер колебал неверное пламя, и по балкам потолка пробежали причудливые тени, а в неосвещенных углах, казалось, ютятся фантастические чудовища.

– Превосходная декорация для пятого акта трагедии, – заметила Серафина, оглядываясь по сторонам, меж тем как Изабелла, очутившись в этой промозглой тьме, невольно вздрогнула не то от холода, не то от страха.

Все три женщины, не раздеваясь, нырнули под одеяло. Изабелла улеглась посередине на тот случай, если из-под кровати высунется мохнатая лапа какого-нибудь призрака или оборотня, чтобы ему попала сперва Дуэнья или Серафина. Обе ее храбрые товарки вскоре заснули, а пугливая девушка долго лежала, устремив открытые глаза на заколоченную дверь, словно подозревая, что за ней таятся целые сонмы привидений и ночных ужасов. Однако дверь не отворилась, никакой призрака в саване не появился оттуда, потрясая цепями, хотя непонятные звуки и доносились порой из пустынных покоев; но под конец сон посыпал золотым песком веки боязливой Изабеллы, и ее ровное дыхание вторило теперь похрапыванию ее товарок.

Педант спал крепчайшим сном, уткнувшись носом в стол, напротив Тирана, который оглушительно храпел и во сне бубнил обрывки александрийских стихов. Матамор оперся головой о спинку кресла, положил вытянутые ноги на каминную решетку, завернулся в свой серый плащ и стал похож на селедку в бумаге. Боясь память свою куафюру, Леандр держал голову прямо, однако спал очень сладко. Сигоньяк прикорнул в оставшемся свободным кресле, но события этой ночи взволновали его, и ему не спалось.

Две молодые женщины не могут вторгнуться в жизнь юноши, не возмущив ее, особенно если этот юноша до той поры жил без радостей, лишенный всех утех юных лет по милости злой мачехи, которую зовут нищетой.

Пожалуй, покажется неправдоподобным, что молодой человек дожил до двадцати с лишним годов без единой интрижки; но Сигоньяк был горд, и, не имея возможности появляться в свете так, как приличествовало его имени и положению, он предпочитал сидеть дома. Родители его умерли, а кроме них, ему не у кого было просить помощи, и он с каждым днем все более погружался в уединение и тоску. Правда, не раз во время своих одиноких прогулок он встречал Иоланту де Фуа, скакавшую на белом иноходце в погоне за оленем, в сопровождении отца и молодых вельмож. Это лучезарное видение часто мелькало в его снах; но что общего могло быть между богатой знатной красавицей и им – захудалым, обнищавшим, убогим на вид дворянчиком? Он, отнюдь не желая быть замеченным ею, наоборот, при встречах старался ступать, из боязни вызвать смех своей помятой линялой шляпой с изъеденным крысами пером, поношенной мешковатой одеждой и старой смиренной клячей, более подходящей для сельского священника, нежели для дворянина, ибо нет ничего обиднее для благородного сердца, чем показаться смешным предмету своей любви; стремясь заглушить зарождающееся чувство, Сигоньяк приводил себе все трезвые и суровые доводы, какие может внушить бедность. Удалось ли ему это? Нам судить трудно. Сам он считал, что ему удалось отогнать от себя эту мысль, как несбыточную мечту, полагая, что ему и без того довольно несчастий и незачем к ним добавлять муки неразделенной любви.

Ночь прошла без особых приключений, если не считать испуга, причиненного Изабелле Вельзевулом, который пристроился на ее груди и не желал уходить с такой мягкой подушки.

Сигоньяк же всю ночь не сомкнул глаз, оттого ли что не привык спать иначе как в постели, оттого ли что его взбудоражило соседство хорошеньких женщин. Мы скорее склонны думать, что смутные планы роились у него в голове, смущая его и гоня сон. Появление комедиантов представлялось ему счастливым случаем, зовом самой судьбы, побуждающей его покинуть родовую лачугу, где его молодые годы увядали бесславно и бесцельно.

Занимался день, и голубоватый свет, проникая сквозь окна в частых свинцовых переплетах, придавал болезненно-желтый оттенок огню угасающих ламп.

Освещенные с двух сторон лица спящих оказались двухцветными, наподобие средневековых костюмов. Леандр пожелтел, как лежалая свеча, и стал смахивать на воскового Иоанна Крестителя в парике из шелковой бахромы и с облупившейся, несмотря на стеклянный колпак, краской. Крепко сомкнутые веки, стиснутые челюсти, торчащие скулы и заострившийся нос, словно защемленный костлявыми пальцами смерти, делали Матамора похожим на собственный труп.

Багровые пятна и апоплексические прожилки испещряли пьяную образину Педанта; нос его из рубинового стал аметистовым, а толстые губы были покрыты синеватым винным налетом. Капельки пота, стекая по рытвинам и бороздам его лба, задержались в зарослях седоватых бровей; дряблые щеки обвисли. В отупении тяжелого сна лицо актера было отвратительным, меж тем как в бодрствующем состоянии оно привлекало выражением остроты и живости ума; он сидел, привалясь к краю стола и напоминая старого гуляку, козлоногого Сатира, после вакханалии упавшего замертво на краю оврага.

Тиран держался вполне прилично, на его мучнистом лице, обросшем черной щетиной, на лице незлобивого и по-отечески добродушного палача, вообще не могло быть заметных перемен. Субретка тоже довольно сносно выдержала нескромное вторжение дневного света; вид у нее был не очень измученный, разве что более густая синева вокруг глаз да фиолетовые жилки, проступившие на щеках, говорили о дурно проведенной ночи. Сладострастный солнечный луч, проскользнув между пустыми бутылками, недопитыми бокалами и остатками кушаний, ласкал подбородок и губы девушки, точно фавн, который заигрывает с сонной нимфой. Целомудренные вдовицы на стенах пытались покраснеть под желтым слоем лака, глядя, как их уединение оскверняется этим табором бездомных бродяг; и в самом деле, вся пиршественная зала представляла собой омерзительную своей несуразностью картину.

Субретка первая проснулась от поцелуя утреннего солнца; она вскочила, выпрямилась на своих стройных ножках, отрянула юбки, как птица – перья, приладила волосы ладонью, чтобы вернуть им глянец, и, увидев, что барон Сигоньяк сидит в кресле и смотрит перед собой недремлющим взором, направилась к нему и сделала реверанс по всем правилам театрального искусства.

– Мне очень жаль, – сказал Сигоньяк, отдавая поклон, – что мое разрушенное жилище, более пригодное для призраков, чем для живых людей, не позволило

мне оказать вам лучший прием; я предпочел бы, чтобы вы почивали здесь на простынях голландского полотна, под узорчатым атласным балдахином, а не маялись бы в этом обветшалом кресле.

– Полноте, сударь! – возразила Субретка. – Не будь вас, мы провели бы ночь, дрожа от холода под проливным дождем в повозке, завязшей в грязи, и утром чувствовали бы себя прескверно. Вы с пренебрежением говорите об этом обиталище, на самом же деле оно великолепно по сравнению с теми сараями, которые продувает насквозь и где нам, тиранам и жертвам, принцам и принцессам, Леандрам и Субреткам, нам – комедиантам, кочующим из города в город, – частенько приходится ночевать на охапке соломы.

Пока барон и Субретка обменивались учтивыми заверениями, Педант с громким треском рухнул на пол. Кресло не выдержало наконец такой ноши, подломилось под ним, и толстяк, растянувшись во весь рост, барахтался, как перевернутая на спину черепаха, издавая невнятные возгласы. Падая, он машинально ухватился за край скатерти и потащил за собой посуду, которая каскадом посыпалась на него. От грохота разом проснулись все остальные актеры. Тиран потянулся, протер глаза, а затем подал руку помощи старику и поставил его на ноги.

– С Матамором такой неприятности не могло бы случиться, – произнес Ирод, сопровождая слова утробным рычанием, заменявшим ему смех. – Свались он в паутину, он и ее бы не прорвал.

– В самом деле, – подтвердил названный актер, расправляя длинные, членистые, словно паучьи, конечности, – не каждому посчастливилось быть Полифемом, Какусом, горой мяса и костей, вроде тебя, или бурдюком со спиртным, бочкой о двух ногах, вроде Блазиуса.

На шум в дверях появились Изабелла, Серафина и Дуэнья. Обе молодые женщины, несколько утомленные и побледневшие, все же были прелестны и при свете дня. Сигоньяку казалось, что ослепительней их никого быть не может, хотя более придирчивый наблюдатель отметил бы некоторые погрешности в их наряде, примятом и поношенном; но что значат вылинявшие ленты, протертые, залоснившиеся ткани, убожество и безвкусица в деталях уборов, если те, кто носит их, молоды и миловидны? К тому же барон, привыкший созерцать только пыльное, выгоревшее, обветшалое старье, не способен был досмотреться до подобных мелочей. На фоне мрачного разрушающегося замка Серафина и Изабелла, на его взгляд, были разряжены как нельзя пышнее, и сами они

представлялись ему сказочными видениями.

Что касается дуэньи, то возраст давал ей огромную привилегию – ее уродство было недоступно переменам, ничто не могло нанести ущерб этой физиономии, будто вырезанной из самшита, на которой поблескивали свиные глазки. Она была все та же и при солнце и при свечах.

В этот миг появился Пьер, чтобы привести в порядок комнату, подбросить дров в камин, где несколько головешек белело под пушистым покровом золы, и убрать остатки трапезы, на которые так противно смотреть после того, как голод утолен.

Разгоревшееся пламя лизало чугунную доску с гербом Сигоньяков, непривычную к подобным ласкам, и отбрасывало яркие блики на труппу комедиантов, сбившуюся вокруг очага. Весело пылающий огонь всегда приятен после ночи, проведенной если не совсем без сна, то, во всяком случае, вполпьяна, и под его животворным влиянием полностью улетучились следы усталости на хмурых или помятых лицах. Изабелла протягивала к огню ладони порозовевших от его отблесков ручек и сама, зардевшись от этих румян, утратила недавнюю бледность. Более рослая и крепкая донна Серафина стояла позади нее, точно старшая сестра, которая поспешила усадить не столь выносливую младшую сестренку. Матамор грезил в полусне, словно водяная птица на краю болота, вытянув одну свою журавлиную ногу, поджав другую и уткнувшись клювом в брыжи, вместо зоба. Педант-Блазиус, облизываясь, поднимал на свет одну бутылку за другой, в чаянии найти хоть каплю драгоценной влаги.

Молодой хозяин отозвал Пьера в сторону, желая узнать, нельзя ли раздобыть в деревне на завтрак актерам десяток-другой яиц или же несколько кур, годных для того, чтобы посадить их на вертел, и старый слуга поспешил поскорее исполнить поручение, так как труппа выразила намерение рано тронуться в путь, проделать порядочный перегон и засветло добраться до ночлега.

– Боюсь, что завтрак ваш будет весьма скуден и вам придется удовольствоваться самой умеренной пищей, – сказал Сигоньяк своим гостям, – но лучше позавтракать плохо, чем остаться совсем без завтрака, а на шесть миль в окружности нет ни постоянного двора, ни кабачка. По виду моего замка вам ясно, что я не богат, но причина моей бедности – затраты предков на войну в защиту наших королей, и мне нечего ее стыдиться.

– Конечно, конечно! – пробасил Ирод. – Ведь многие из тех, что кичатся большим богатством, поостереглись бы указать его источник. Откупщик рядится в парчу, а отпрыски знатных родов ходят в дырявых плащах. Но сквозь эти дыры сверкает доблесть.

– Однако меня немало удивляет, – добавил Блазиус, – что столь благородный дворянин, каким, по-видимому, являетесь вы, сударь, губит свою молодость в безлюдной глуши, куда Фортуна не может проникнуть, как бы она того ни желала. Если бы ей случилось пролетать мимо этого замка, который, должно быть, имел весьма внушительный вид лет двести тому назад, она не задержалась бы в своем полете, сочтя замок необитаемым. Вам, господин барон, следует отправиться в Париж – око и пуп мира, приют умников и храбрецов, Эльдорадо и Ханаан для офранцузенных испанцев и окрещенных евреев, благословенный край, озаренный солнцем королевского двора. Там вы, господин барон, всенепременно были бы отмечены по заслугам и выдвинулись бы, либо состоя в услужении у какого-нибудь высокопоставленного лица, либо отличившись блистательным образом, случай к чему не замедлил бы представиться.

Эти слова, несмотря на их шутовскую высокопарность – невольный отголосок ролей Педанта, – не были лишены смысла. Сигоньяк признавал их справедливость, он и сам не раз, во время долгих одиноких прогулок по ландам, твердил про себя то же, что Блазиус высказал сейчас вслух.

Но у него не было денег для столь долгого путешествия, и он не знал, как их раздобыть. Будучи храбрым, он вместе с тем был горд и больше страшился насмешки, чем удара шпаги. Не будучи осведомлен в вопросах моды, он понимал, однако, что кажется смешным в своем поношенном платье, успевшем устареть еще в предыдущее царствование. Как все те, кого нужда делает застенчивым, он не признавал своих преимуществ и видел одни лишь дурные стороны своего положения. Если бы он подольстился к старым друзьям отца, ему, по всей вероятности, удалось бы добиться их покровительства, но подобный шаг был противен его природе, и он предпочел бы умереть, сидя на своем ларе подле родового герба и грызя зубочистку, по примеру испанского идадьго, чем у кого бы то ни было попросить денег вперед или взаймы. Он принадлежал к числу тех изголодавшихся людей, которые отказываются от превосходного обеда, боясь, как бы радушные хозяева не заподозрили, что дома им нечего есть.

– Я не раз думал об этом, но в Париже у меня нет друзей, а потомки тех, кто знал моих прадедов, когда они были богаты и занимали должности при дворе, не очень-то захотят принять участие в каком-то отощавшем Сигоньяке, который коршуном слетел со своей разрушенной башни, чтобы урвать себе долю в общей добыче. А кроме того, – к чему таиться перед вами? – я лишен возможности появиться в подобающем моему имени виде; да и всех сбережений моих и Пьера, вместе взятых, не хватит на то, чтобы добраться до Парижа.

– Но вам вовсе не требуется въехать туда триумфатором, подобно римскому кесарю, на колеснице, влекомой квадригой белых коней. Если наша скромная повозка, запряженная волами, не оскорбляет достоинства вашей милости, поедemте с нами в столицу, – наша труппа направляется именно туда. Кое-кто из тех, что блистают ныне, пришли в Париж пешком, неся узелок с пожитками на конце шпаги, а башмаки – в руках, чтобы не изнасились.

Лицо Сигоньяка покрылось краской не то стыда, не то радости. С одной стороны, родовая гордость возмущалась при мысли стать должником жалкого комедианта, с другой же – его чувствительную душу тронуло столь чистосердечное предложение, к тому же отвечавшее заветному желанию молодого барона. Он боялся оскорбить отказом самолюбие актера и самому лишиться случая, который не представится больше никогда. Конечно, путешествие отпрыска Сигоньяков в повозке Феспиды вместе с бродячими актерами представляло собой нечто неприличное, отчего впору было заржать геральдическим единорогам и взреветь львам на красном поле щита; но, в конце концов, молодой барон достаточно напостился за стенами своего феодального замка.

Он колебался, ответить ему «да» или «нет», взвешивая эти два решающих словечка на весах разума, когда к собеседникам с милой улыбкой приблизилась Изабелла и положила конец сомнениям молодого человека следующими словами:

– Наш постоянный поэт, получив наследство, покинул нас, и вы, господин барон, могли бы заменить его, ибо, перелистывая томик Ронсара, лежавший на столе возле кровати, я нечаянно наткнулась на испещренный помарками сонет, вероятно, вашего сочинения; значит, вам не составило бы труда приспособить для нас роли, делать нужные купюры и добавления и в случае чего написать пьесу на заданную тему. У меня как раз есть на примете итальянский сюжет, где я могла бы получить прелестную роль, если бы кто-

нибудь взял на себя обработку.

Произнося эту речь, Изабелла смотрела на Сигоньяка таким нежным и проникновенным взглядом, что тот не мог устоять. Появление Пьера, принесшего огромную яичницу с салом и порядочный ломоть ветчины, прервало эту беседу. Вся труппа расселась за столом и с аппетитом принялась уплетать завтрак. Сигоньяк лишь приличия ради притрагивался к кушаньям, стоявшим перед ним; привыкнув к воздержанию, он был еще сыт вчерашним ужином и, кроме того, поглощен множеством забот.

После завтрака, пока погонщик прикручивал веревки от ярма к рогам волов, Изабелла и Серафина пожелали спуститься в сад, который был виден со двора.

– Боюсь, как бы когти шиповника не вцепились в ваши платья, – заметил Сигоньяк, помогая им сойти по шатким, поросшим мохом ступеням, – ибо справедливо говорится, что нет розы без шипов, зато бывают шипы без роз.

Молодой барон произнес это тоном грустной иронии, который усвоил себе, касаясь в разговоре своей бедности; но обиженный сад словно решил постоять за свою честь, и две дикие розочки, приоткрыв все пять лепестков вокруг желтого пестика, вдруг заалели на вытянутой ветке, преграждавшей путь молодым женщинам. Сигоньяк сорвал их и преподнес Изабелле и Серафине со словами:

– Я не предполагал, что цветники мои столь пышны; в них растут лишь сорные травы и для букетов имеются разве что болиголов да крапива. Вы своими чарами вызвали к жизни эти два цветка, как улыбку на лице отчаяния, как искру поэзии посреди руин.

Изабелла бережно воткнула цветок шиповника за корсаж, наградив молодого человека долгим взглядом благодарности, чем показала, какую цену она придает этому скромному подношению. Приблизив цветок к лицу и покусывая его стебель, Серафина как бы хотела подчеркнуть, что бледно-розовые лепестки шиповника не могут соперничать с пурпуром ее губ.

Раздвигая ветви, которые могли хлестнуть посетительниц по лицу, Сигоньяк довел их до статуи мифологической богини, белевшей в конце аллеи. Юная девушка с умиленным вниманием разглядывала запущенный сад, в полной мере

созвучный заброшенному замку. Она представляла себе, какие долгие грустные часы отсчитывал Сигоньяк в этом приюте тоски, нищеты и одиночества, прильнув лбом к оконному стеклу, глядя на пустынную дорогу и не зная другого общества, кроме белого пса и черного кота. Более жесткие черты Серафины выражали одно лишь холодное презрение, прикрытое учтивостью; как ни уважала она титулы, этот дворянин был для нее чересчур уж захудалым.

– Здесь кончаются мои владения, – пояснил барон, когда они приблизились к гроту, где плесневела Помона. – Раньше эти холмы и долины, поля и вересковые заросли – во все стороны, куда только достигал взгляд с вершук обветшавших башенок, – принадлежали моим предкам; ныне же моего достояния хватит лишь на то, чтобы дождаться часа, когда последний из Сигоньяков упокоится рядом со своими пращурами в фамильном склепе, единственном владении, которое нам останется.

– Надо сознаться, ваши мысли не очень-то жизнерадостны с самого раннего утра! – заметила Изабелла; она была тронута этим признанием, совпадавшим с ее собственными мыслями, но постаралась игривым тоном согнать грусть с чела молодого барона. – Фортуна – женщина, и, хотя ее почитают слепой, все же она, стоя на своем колесе, кое-когда отмечает среди толпы кавалера высокого рождения и высоких достоинств; надо только вовремя попасться ей на глаза. Решайтесь же, поедemте с нами, и, быть может, через несколько лет башни замка Сигоньяк, крытые новой черепицей, подновленные и побеленные, станут в такой же мере величавы, в какой сейчас они жалки. И потом, право же, мне было бы грустно оставить вас в этом свином гнезде, – добавила она вполголоса, чтобы Серафина не могла ее услышать.

Ласковый свет, теплившийся в глазах Изабеллы, победил колебания барона. ореол любовного приключения оправдывал в его собственных глазах унизительную сторону такого рода путешествия. Ничего недостойного не было в том, чтобы из любви к актрисе последовать за ней и в качестве воздыхателя впрячься в колесницу Комедии; самые изысканные кавалеры не остановились бы перед этим. Колчаноносный божок нередко понуждает богов и героев совершать необычайные поступки и принимать странные обличья: Юпитер обратился в быка, чтобы соблазнить Европу; Геркулес прятал у ног Омфалы; непогрешимый Аристотель ползал на четвереньках, нося на спине свою возлюбленную, пожелавшую оседлать философского конька, – забавный вид верховой езды! – хотя такого рода дела противны достоинству божескому и человеческому. Но был ли Сигоньяк влюблен? Он не старался вникнуть в это, однако чувствовал,

что отныне несносная тоска будет снедать его здесь, в старом замке, на миг оживленном присутствием юного и миловидного создания.

Итак, решившись без долгих колебаний, он попросил комедиантов подождать его, а сам отвел Пьера в сторону и сообщил ему о своем намерении. Верный слуга, как ни был он удручен предстоящей разлукой с хозяином, понимал, однако, сколь тягостно для того дальнейшее пребывание в жилище Сигоньяков. С горестью наблюдал он, как угасает жизнь юноши в унылом бездействии и тупой тоске, и, хотя труппа фигляров представлялась ему неподобающей свитой для владельца замка Сигоньяк, он все же предпочитал такой способ попытаться счастье той мрачной апатии, в которую, особенно последние два-три года, погружался молодой барон. Пьеру не стоило большого труда собрать скромные пожитки своего господина и вложить в кожаный кошелек горстку пистолей, рассыпанных по старому ларю, присовокупив к ним, ни слова не говоря, свои убогие сбережения; причем барон, быть может, и не заметил его скромного дара, ибо Пьер совмещал со всеми другими обязанностями в замке также и должность казначея, бывшую поистине синекурой.

Вслед за тем была оседлана белая лошадь, так как Сигоньяк собирался пересечь в повозку комедиантов лишь на расстоянии двух-трех миль от замка, дабы скрыть свой отъезд, сделав вид, будто он только провожает гостей; Пьер должен был следовать за ним пешком и привести лошадь назад, на конюшню.

Волы были уже в упряжке и, несмотря на тяжесть ярма, тщились поднять свои влажные черные морды, с которых серебристыми волокнами свисала слюна; венчавшие их головы, наподобие тиар, красные с желтым плетеные покрывала и защищающие от мух белые холщовые попоны на манер рубах придавали им саκραментально-торжественный вид. Перед ними погонщик, рослый загорелый варвар, словно пастух римской кампании, стоял, опершись на палку, в позе греческих героев с античных барельефов, о чем, конечно, сам и не подозревал. Изабелла и Серафина уселись спереди, чтобы любоваться красивыми видами, Дуэнья, Педант и Леандр забрались в глубь повозки, предпочитая подремать еще, вместо того чтобы наслаждаться панорамой ландшафта.

Все были в сборе; погонщик хлестнул волов, они опустили головы, уперлись выгнутыми ногами в землю, потом рванули с места; повозка тронулась, доски затрещали, плохо смазанные колеса зазвонили, и свод портала гулко отозвался на тяжелый стук копыт. Замок опустел.

Во время приготовлений к отъезду Вельзевул и Миро, понимая, что происходит нечто необычное, с растерянным и озабоченным видом бегали взад-вперед и своим смутным звериным разумением старались понять, откуда в этом пустынном месте взялось столько людей. Пес бестолково метался между Пьером и хозяином, вопрошая их своими синеватыми глазами и рыча на незнакомых. Кот – существо более рассудительное, – с любопытством поводя носом, обнюхивал колесо за колесом, озадаченный размерами волов, разглядывал их на почтительном расстоянии и отскакивал назад, когда те невзначай шевелили рогами. Затем он уселся на задние лапки напротив старой белой лошади, с которой у них было полное взаимное понимание, и, казалось, старался дознаться от нее правды; дряхлая кляча наклонила голову к коту, который задрал к ней мордочку, и, перетирая серыми, поросшими длинной щетиной губами остатки корма, застрявшие у нее между шатких старых зубов, будто в самом деле отвечала другу из кошачьего племени. Что она говорила ему? Один лишь Демокрит, утверждавший, что понимает язык животных, мог бы понять ее; как бы то ни было, но после этой безмолвной беседы, которую он подмигиваниями и мяуканьем передал Миро, коту, очевидно, стал ясен смысл происходящей кутерьмы. Когда барон сел в седло и подобрал поводья, Миро занял место справа, а Вельзевул слева от лошади, и барон де Сигоньяк отбыл из замка своих предков под эскортом пса и кота. Очевидно, осторожный Вельзевул отважился на такой смелый, несвойственный кошачьей породе поступок лишь потому, что угадал, сколь важное решение принято его господином.

В минуту прощания с этой грустной обителью Сигоньяк почувствовал, какой болью сжалось его сердце. Последний раз окинул он взглядом черные от ветхости и зеленые от мха стены, где ему был знаком каждый камень: и башни с ржавыми флюгерами, которые он долгие часы, изнывая от скуки, созерцал тупым и невидящим взглядом; и окна опустошенных комнат, по которым он бродил, точно привидение в заклятом замке, чуть не пугаясь собственных шагов; и запущенный сад, где жабы прыгали по сырой земле и между кустами ежевики шныряли ужи; и часовня с дырявой крышей, где полуразрушенные арки своими обломками засоряют позеленевшие плиты, под которыми бок о бок покоятся его старик отец и мать, чей пленительный образ сохранился в его памяти как смутный сон, мелькнувший на заре младенческих лет. Вспомнились ему и портреты в галерее, которые коротали с ним одиночество и двадцать лет улыбались ему своей застывшей улыбкой; вспомнился охотник за чирками со шпалер спальни, кровать с витыми колонками, где подушка столько раз увлажнялась его слезами, – все эти предметы, ветхие, убогие, унылые, неприветные, пыльные, сонные, внушавшие ему только отвращение и скуку, теперь вдруг обрели обаяние, которого раньше он не ощущал. Он упрекал себя в

неблагодарности к жалкому, древнему, полуразвалившемуся дому, который укрывал его, как мог, и при всей своей дряхлости силился устоять, чтобы не задавить его своими руинами, как восьмидесятилетний слуга держится на трясущихся ногах, пока хозяин еще тут; в памяти всплывали мгновения горьких радостей, печальных услад, улыбчивой грусти; привычка, эта неторопливая и бледная спутница жизни, сидя на знакомом пороге, глядела на него глазами скорбной ласки и проникновенно, тихим голосом напевала песенку раннего детства, песенку кормилицы; и, покидая портал, он словно ощутил, как незримая рука схватила его за плащ и потянула назад.

Когда он выехал из ворот впереди повозки, порыв ветра принес свежий запах вереска, омытого дождем, нежный и волнующий аромат родной земли; вдали звонил колокол, и серебряные переливы доносились на крыльях того же ветерка вместе с благоуханием ланд. Это было слишком, и Сигоньяк, охваченный щемящей тоской по родному дому, хотя и находился всего в нескольких шагах от него, дернул повод, и старая кляча тут же послушно повернула вспять, проявив, казалось бы, недоступную для ее возраста живость; Миро и Вельзевул, как по команде, подняли головы, словно угадывая чувства хозяина, остановились и обратили к нему вопрошающий взгляд. Но минута колебания привела к результату, обратному тому, какой можно было ожидать, ибо, оглянувшись, Сигоньяк встретился глазами с Изабеллой, и взор девушки был исполнен такой томной нежности и явственной мольбы, что барон наш покраснел, побледнел и начисто позабыл и ветхие стены замка, и аромат вереска, и переливы колокола, хотя скорбно-призывный звон его ни на секунду не умолкал; натянув поводья и сжав бока лошади, Сигоньяк помчался вперед. Борьба была окончена: Изабелла победила.

Повозка направилась в сторону дороги, о которой была речь на первой странице этой книги, изгоняя перепуганных лягушек из выбоин, полных воды. Когда она выехала на дорогу и волам стало легче тащить по утопанной почве тяжелую колымагу, в которую они были впряжены, Сигоньяк из авангарда перебрался в арьергард, не желая проявлять чересчур откровенное внимание к Изабелле, а, возможно, также ища уединения, чтобы всецело отдаться думам, тревожившим его душу.

Островеверхие башни замка Сигоньяк наполовину скрылись уже за купами деревьев; барон поднялся на стременах, чтобы увидеть их еще раз, и, опустив взгляд, заметил Миро и Вельзевула и прочел на их жалостных физиономиях всю ту боль, какую только способно выразить животное. Воспользовавшись

задержкой, вызванной созерцанием башен, Миро напряг свои дряблые старческие мышцы, чтобы подпрыгнуть как можно выше и в последний раз лизнуть лицо хозяина. Сигоньяк понял намерения бедного пса, подхватил его на уровне стремени за обвисшую кожу загривка, поднял на седло и поцеловал в черный шершавый нос, не уклоняясь от влажной ласки животного, в знак благодарности обливавшего его усы. Тем временем более проворный Вельзевул при помощи своих цепких когтей взобрался с другой стороны по сапогам и ляжкам Сигоньяка, высунул у самой луки свою черную мордочку и, вращая большими желтыми глазами, оглушительным мяуканьем тоже молил о последнем привет. Молодой барон несколько раз провел рукой по безухой голове кота, а тот тянулся и выгибался, чтобы лучше ощутить дружеское почесывание. Мы не боимся вызвать насмешку над нашим героем, сказав, что смиренные проявления преданности этих двух тварей, лишенных души, но не чувства, несказанно умилили его, и две слезы, поднявшиеся с рыданием из глубины сердца, упали на головы Миро и Вельзевула и нарекли их друзьями хозяина в человеческом смысле этого слова.

Оба животных некоторое время смотрели вслед Сигоньяку, который пустил лошадь рысью, чтобы нагнать повозку, а когда он исчез из виду за поворотом дороги, в братском согласии отправились обратно, к замку.

Ночная гроза не оставила на песчаной почве ланд тех следов, какие оставляют проливные дожди на менее сухих землях; природа только освежилась и заблестела своеобразной суровой красотой. Лиловые цветочки вереска, омытые небесной влагой, устилали склоны холмов; наново зазеленевший дрок кивал золотыми цветами; водяные растения раскинулись по вновь напитавшимся влагой болотам; сосны и те менее мрачно покачивали темными ветвями и распространяли запах смолы; голубоватые столбики дыма подымались тут и там из купы каштанов, выдавая крестьянское жилье, а в извилах долины, расстилавшейся без конца и без края, точно светлые пятна, мелькали овцы под охраной пастуха, дремавшего на ходулях. На краю горизонта, точно архипелаг белых облаков, оттененных лазурью, выступали далекие вершины Пиренеев, полустертые легким туманом осеннего утра.

Кое-где дорога пролегла между двумя кручами, размытые склоны которых белели измельченным в порошок песчаником, а на гребнях буйными космами вились заросли кустов, и переплетенные побеги хлестали по холщовому верху повозки. Местами почва была такой рыхлой, что ее пришлось укрепить стволами елей, брошенных поперек дороги, отчего повозку порядком потряхивало, и дамы

взвизгивали от страха. А иногда случалось проезжать по шатким мостикам через лужи и ручейки, попадавшие на пути. Во всех опасных местах Сигоньяк помогал сойти с повозки Изабелле, более робкой или менее ленивой, чем Серафина и Дуэнья. Тиран и Блазиус, выдавшие всякие виды, безмятежно спали, как бы их ни швыряло между баулами. Матамор маршировал рядом с повозкой, чтобы с помощью моциона сохранить свою неправдоподобную худобу, о которой он постоянно радел; и, видя издалека, как он подымает свои длиннющие ноги, его всякий бы принял за паука-сенокосца посреди хлебного поля. Он делал такие огромные шаги, что поминутно вынужден был останавливаться и дожидаться остальных актеров; приучившись по своим ролям лихо выступать боком и расставлять ноги циркулем, он и в жизни изображал на ходу геометрическую фигуру.

Запряженные волами повозки катятся не спеша, особливо в ландах, где песок порой доходит до ступицы, а дороги отличаются от прочей земли лишь колеями в два-три фута глубиной; и хотя терпеливые животные, пригнув жилистые выи, отважно продвигались вперед, подстрекаемые бодилом погонщика, солнце стояло уже высоко, а путешественники проехали всего две мили, правда, местных мили, долгих, как день без дела, и подобных тем милям, коими спустя две недели услад отметили свои любовные доблести те четы, что были отряжены Пантагрюэлем ставить придорожные камни в его прекрасном королевстве Мирбале.

Крестьяне, пересекавшие дорогу, кто с охапкой травы, кто с вязанкой хвороста, попадались все реже, и ланды раскинулись теперь в своей пустынной наготе, столь же дикой, как испанские деспобладос или американские пампасы.

Сочтя бесцельным утомлять и далее своего жалкого дряхлого скакуна, Сигоньяк спрыгнул на землю и бросил поводья слуге, на бронзовом лице которого сквозь многолетний загар проступила бледность, вызванная душевным волнением. Настала минута прощания хозяина и слуги, минута тягостная потому, что Пьер знал Сигоньяка со дня его рождения и был ему скорее смиренным другом, нежели прислужником.

– Да хранит Господь вашу милость, – произнес Пьер, склоняясь над протянутой рукой барона, – и да поможет он вам возвратить благосостояние Сигоньяков. Как жаль, что мне не дозволено сопровождать вас.

– Куда бы я девался с тобой, мой бедный Пьер, в той неведомой жизни, в какую вступаю отныне? На столь скудные средства вряд ли возможно прокормиться нам двоим. В замке ты уж кое-как проживешь: наши прежние арендаторы не дадут умереть с голоду верному слуге их господина. Кроме того, не следует бросать замок Сигоньяк на произвол судьбы, чтобы им завладели стервятники и гады, как развалинами, где царит смерть и бродят привидения; душа этого старинного обиталища еще жива во мне, и доколе жив я, у порога его должен стоять страж, который не позволит озорникам камнями метить из пращей в его герб.

Пьер склонил голову в знак согласия, ибо, как все старые преданные слуги знатных семей, он благоговел перед жилищем своих господ, и замок Сигоньяк, несмотря на все трещины, изъяны, на убожество, по-прежнему казался ему великолепнейшим дворцом в мире.

– А затем, кто бы стал заботиться о Баярде, о Миро и Вельзевуле? – с улыбкой добавил барон.

– Ваша правда, господин барон, – согласился Пьер, беря поводья Баярда, которого Сигоньяк похлопал по шее в знак прощальной ласки.

Разлучаясь с хозяином, старый конь несколько раз принимался ржать, и долго еще до Сигоньяка доносился приглушенный расстоянием любовный зов признательного животного.

Оставшись один, Сигоньяк испытал чувство людей, которые пускаются в дальнее плаванье и прощаются с друзьями, остающимися на берегу. Это, пожалуй, самые горькие минуты для отъезжающего. Мир, в котором он жил, удаляется от него, и душе его настолько одиноко и тоскливо, а глазам настолько не терпится увидеть человеческое лицо, что он спешит присоединиться к попутчикам, – потому-то молодой барон ускорил шаг, торопясь догнать повозку, которая продвигалась с трудом; песок скрипел под ее колесами, подобно лемехам плуга, врезавшим в землю глубокие борозды.

Увидев Сигоньяка, идущего рядом с повозкой, Изабелла стала жаловаться, что ей неудобно сидеть, и пожелала сойти, по ее словам, размять ноги, на деле же с благим намерением веселой болтовней отвлечь молодого барона от грустных дум.

Словно туча, пронизанная солнечным лучом, рассеялась печаль, омрачавшая лицо Сигоньяка, когда девушка оперлась о его руку, чтобы пройти с ним по дороге, довольно гладкой в этом месте.

Так они шли друг подле друга. Молодая актриса читала Сигоньяку не очень складные, по ее мнению, стихи из одной своей роли, которые просила его исправить, как вдруг слева в чаще кустов зазвучал рог, захрустел под копытами коней сухостой, ветви раздвинулись, – на дороге появилась юная Иоланта де Фуа во всем великолепии Дианы Охотницы. От быстрого галопа ярче разругались ее щеки, розовые ноздри трепетали, а грудь высоко вздымалась над расшитым золотом бархатным корсажем. Разорванная в нескольких местах длинная юбка наездницы и царапины на боках лошади показывали, что неустрашимая амазонка не боится ни чащи, ни зарослей; хотя пыл породистого животного не нуждался в поощрении, а жилы на его шее, белой от пены, налились благородной кровью, Иоланта подстегивала его кончиком хлыста с аметистовым набалдашником, на котором был выгравирован ее герб, вынуждая коня проделывать скачки и курбеты, к вящему восторгу трех-четырех разряженных всадников, рукоплескавших грациозной отваге новой Брадаманты.

Вскоре Иоланта, наскучив мнимой борьбой, опустила поводья и проскакала мимо Сигоньяка, бросив на него взгляд, исполненный презрения и высокомерной дерзости.

– Посмотрите-ка на барона де Сигоньяка, – крикнула она троим щеголям, скакавшим за ней следом, – он сделался рыцарем странствующей комедиантки!

Кавалькада с хохотом умчалась прочь, подняв за собой облако пыли. Сигоньяк в порыве гнева и стыда схватился за рукоять шпаги; но бежать пешему за всадниками было бы безумием, да и не мог же он вызвать на дуэль Иоланту. Томная покорность во взоре актрисы вскоре заставила его забыть надменный взгляд аристократки.

День прошел без каких-либо новых приключений, и к четырем часам повозка добралась к месту обеда и ночлега.

Печален был этот вечер в замке Сигоньяк; лица на портретах глядели сумрачней и сварливей обычного, что казалось бы, даже невозможно. Шаги на лестнице особенно гулко раздавались в пустоте, комнаты как будто стали больше и

оголеннее. Ветер зловеще завывал по коридорам, а пауки в тревоге и недоумении спускались на паутине с потолка. Трещины в стенах раздвинулись шире, словно челюсти, растянутые зевотой; старый обветшалый дом будто понял, что молодой хозяин покинул его, и опечалился.

Сидя под навесом очага, Пьер при дымном свете смоляного факела делил свой скудный ужин с Миро и Вельзевулом, а на конюшне Баярд лязгал цепью и тыкался носом в кормушку.

III

Харчевня «Голубое солнце»

То место, где усталые волю остановились сами по себе, с довольным видом отряхивая влажные морды от волокон пены, представляло собой скопище убогих шалашей, которое в другом, менее безлюдном краю вряд ли заслужило бы название деревни.

Деревушка состояла из пяти-шести лачуг, разбросанных среди деревьев, которые довольно пышно разрослись здесь, на клочке плодородной земли, удобренной навозом и отбросами всякого рода. Построенные из глины пополам со щебнем, укрепленные обтесанными бревнами и обломками досок, увенчанные высокими кровлями из обомшелой соломы, доходившими чуть не до земли, окруженные навесами, где валялись исковерканные и облепленные грязью земледельческие орудия, – домики эти скорее пригодны были для нечистых животных, нежели для созданий, сотворенных по образу и подобию Божию; и в самом деле, черные свиньи не гнушались разделять эти жилища со своими хозяевами, что доказывало отсутствие брезгливости у прирученных кабанов.

На крылечках топтались ребяташки с большими животами, хилыми ножками и болезненным цветом лица, одетые в рваные рубашки, чересчур короткие спереди или сзади, или попросту в распашонки, затянутые веревкой; в невинности своей они ничуть не смущались этой наготой, словно обитали в земном раю; глаза их блестели любопытством сквозь космы нечесаных волос, как фосфорические зрачки ночных птиц – сквозь чащу ветвей. Видно было, что страх борется в них с соблазном, – им хотелось убежать и спрятаться за любой

изгородью, но повозка и ее содержимое словно волшебными чарами приковали их к месту.

Немного отступя, на пороге своей хибарки тощая бледная женщина с обведенными чернотой глазами качала на руках голодного младенца. Успевший загореть ребенок мял пальцами чахлую материнскую грудь, которая была чуть белее остального тела и свидетельствовала о молодости этого задавленного нищетой создания.

Женщина мрачным и тупым взглядом уставилась в комедиантов, должно быть, плохо отдавая себе отчет в том, что видит. Старуха бабушка, сморщенная и сгорбленная больше Гекубы, супруги Приама, царя Илиона, примостилась на корточках возле дочери и задумалась, опершись подбородком о колени и обхватив костлявые ноги руками, в позе древнеегипетского идола. Похожие на игральные кости суставы пальцев, сплетения набрякших вен, сухожилия, натянутые, как струны гитары, уподобляли выдубленные временем старушечьи руки анатомическому препарату, давным-давно забытому в шкафу рассеянным хирургом. От кистей до плеч руки эти превратились в палки, на которых болталась пергаментная кожа, собиравшаяся на сгибах поперечными складками, точно глубокими зарубками. Пучки длинной щетины торчали на подбородке; уши поросли седым мхом; брови, точно ползучие растения над входом в пещеру, нависали над глазными впадинами, где тусклые зрачки выглядывали из-под шелушившихся век. Десны совсем поглотили рот, и место его можно было определить лишь по звездообразной впадине, куда сбегались лучи морщин.

При виде этого столетнего пугала шедший пешком Педант воскликнул:

– Что за чудовищная, зловещая и мерзостная старуха! Сами парки покажутся бутончиками рядом с ней. Такую заплесневелую, ветхую рухлядь не омолодить никакой живой водой. Это воистину мать Вечности. Время успело поседеть с тех пор, как она родилась, если она вообще когда-нибудь появилась на божий свет, ибо он, несомненно, был сотворен после ее рождения. Почему не довелось ее увидеть досточтимому Алькофрибасу Назье до того, как он создал панзуйскую сивиллу или старуху с лисьим хвостом, которую потрепал лев? Тогда бы он узрел, каким количеством морщин, изъязнов, борозд, рытвин и ям может обладать человеческая развалина, и превосходнейшим образом живописал бы ее. Эта карга, без сомнения, была хороша собой в пору юности, ибо самые отменные старые уродины получают из отменнейших молодых красоток. Вот урок для вас, сударыни, – продолжал Блазиус, обращаясь к Изабелле и

Серафине, которые подошли его послушать. – Ведь достаточно шестидесяти зимам пронестись над вашими веснами, и вы обратитесь в противных старых ведьм, подобных этой мумии, вылезшей из гроба. Как подумаю об этом, меня прямо тоска берет и мне становится мила моя гнусная рожа, из которой никогда не получится трагической маски, а, наоборот, с годами лишь ярче проявится комическая сторона ее безобразия.

Молодые женщины не любят, когда им представляют даже в туманном будущем картину старости и уродства, что одно и то же. Поэтому обе актрисы, презрительно пожав плечами, отвернулись от Педанта, будто им прискучила эта глупая болтовня, и поспешили к повозке, с которой сгружалась поклажа, сделав вид, что беспокоятся, сохранены ли их баулы; отвечать Педанту было излишне. Не пощадив собственного уродства, Блазиус заранее пресек всякие возражения. Он часто прибегал к такому маневру, чтобы язвить безнаказанно.

Верные безошибочному инстинкту животных, не забывающих того места, где им давали поесть и передохнуть, волю остановились перед самым приметным домом в деревне. Он весьма самоуверенно выдвинулся на край дороги, куда не решались приблизиться другие хибарки, стыдясь своего убожества и прикрывая наготу пучками зелени, точно незадачливые девушки-дурнушки, застигнутые врасплох во время купания. Сознывая свое превосходство над другими местными домами, харчевня явно старалась привлечь к себе взгляды и, точно руки, протягивала вывеску поперек дороги, с намерением остановить «конных и пеших».

Вывеска эта, под прямым углом прикрепленная к фасаду с помощью железного крюка, на котором в случае надобности можно было повесить человека, представляла собой ржавый жестяной лист, скрипевший на своей рейке при каждом порыве ветра.

Проезжий маляр изобразил на ней дневное светило, но не в виде златокудрого золотого лика, а в виде голубого диска с голубыми же лучами, наподобие тех «солнечных теней», которыми по прихоти геральдики бывает усеяно поле герба. Что побудило избрать голубое солнце эмблемой этого постоянного двора? На большой дороге встречается столько «Золотых солнц», что их трудно отличить одно от другого, и некоторая доля своеобразия не бесполезна для вывески, – но не таково было истинное, хоть и вполне резонное, побуждение живописца. У него не осталось никакой другой краски, кроме синей, и, чтобы пополнить свои запасы, ему пришлось бы ехать в ближайший большой город. Поэтому он

отстаивал преимущество ультрамарина перед другими колерами и на вывесках разных харчевен малевал небесной лазурью голубых львов, голубых коней и голубых петухов, за что его, несомненно, одобрили бы китайцы, тем больше почитающие художника, чем дальше он от природы.

Харчевня «Голубое солнце» была крыта черепицей, местами потемневшей, а местами еще ярко-красной, что говорило о недавнем ремонте и о том, что в комнатах по крайней мере не течет с потолка.

Обращенная к дороге стена была замазана штукатуркой, которая скрывала щели и повреждения и придавала дому вполне опрятный вид. Перекрещенные брусья фахверка, по обычаю басков, были окрашены в красный цвет. Другие стены, лишенные этой роскоши, сохранили естественный землистый оттенок глины. Будучи менее темным или более состоятельным, нежели другие обитатели деревни, хозяин постоялого двора пошел навстречу изысканным вкусам просвещенного мира. Окно в парадной комнате было застеклено, – большая редкость по тем временам и для тех краев; другие оконные рамы были затянуты рединой или промасленной бумагой или же закрывались ставнями, окрашенными в тот же красный цвет, что и балки фасада.

Примыкавший к дому сарай мог вместить порядочное количество возков и лошадей. Густые пучки сена торчали между перекладинами ясель, как между зубьями гигантского гребня, а длинные корыта, выдолбленные в старых еловых стволах и укрепленные кольями, были наполнены наименее зловонной водой, какую только можно вычерпать из окрестных болот.

Таким образом, у дядюшки Чирригири были все основания утверждать, что на десять миль в окружности не найдется второй харчевни с такими удобными комнатами, с такими запасами снеди и живности, с таким жарким очагом и мягкими постелями, с таким нарядным убранством и обилием посуды, как в «Голубом солнце»; в этом он не обманывался сам и не обманывал других, потому что ближайший постоялый двор был по меньшей мере на расстоянии двух дней ходьбы.

Барон де Сигоньяк не мог пересилить себя – он стыдился показываться в компании бродячих комедиантов и потому медлил переступить порог харчевни, между тем как Блазиус, Тиран, Матамор и Леандр из почтения пропускали его вперед. Тогда Изабелла, угадав естественное смущение барона, приблизилась к нему с решительной и слегка обиженной миной:

– Фи, господин барон, вы относитесь к женщинам с большей опаской и холодностью, чем Иосиф Прекрасный и Ипполит! Не угодно ли вам подать мне руку и ввести меня в эту гостиницу?

Сигоньяк, поклонившись, поспешил исполнить желание Изабеллы, которая кончиками тонких пальцев оперлась о потертую манжету барона, легким пожатием приободрил его. Эта поддержка вернула ему мужество, и он вступил в харчевню с победоносно-торжествующим видом – пусть хоть весь мир на него смотрит. В нашем благодатном Французском королевстве тот, кто сопровождает красивую женщину, может вызвать лишь зависть, но никак не смех.

Чирригири вышел навстречу путешественникам и с высокопарным красноречием, в котором чувствовалась близость Испании, предоставил свое жилище в их распоряжение. Могучая грудь его выпирала из кожаной матросской куртки, стянутой на бедрах широким поясом с медной пряжкой; однако передник, подоткнутый с одного конца, и кухонный нож, всунутый в деревянный футляр, – атрибуты услужливого повара, – смягчали устрашающий облик контрабандиста, а добродушная улыбка уравнивала тревожное впечатление от глубокого шрама, который, пересекая лоб, терялся в щетке густых волос. Снимая берет и отвешивая поклон, Чирригири невольно открывал для обозрения этот багровый шрам и сморщенную по его краям кожу, которая не могла полностью затянуться над зияющей раной. Надо было обладать недюжинным здоровьем, чтобы душа не отлетела через такую брешь; Чирригири и был здоровенный малый, а душа его, конечно, не торопилась узнать, что ей уготовано на том свете. Недоверчивые и трусливые путешественники, возможно, сочли бы ремесло трактирщика чересчур миролюбивым для молодца с таким обличьем; но, как мы уже сказали, харчевня «Голубое солнце» была единственным сносным пристанищем посреди этой пустыни.

Горница, в которую вошли Сигоньяк и актеры, была не столь великолепна, как расписывал Чирригири: пол в ней был земляной, а возвышение посередине представляло собой сложенный из больших камней очаг. Дыра, проделанная в потолке и загороженная решеткой, с которой свешивался на цепи крюк для котелка, заменяла колпак и дымовую трубу, так что верх комнаты был наполовину скрыт клубами дыма, медленно поднимавшимися к отверстию, если только ветер не гнал их назад. Дым оседал на кровельных балках тонким слоем копоти, какую видишь на старинных картинах, что создавало резкий контраст со свежей штукатуркой наружных стен.

С трех сторон очага, оставляя с четвертой свободный доступ повару к котелку, стояли деревянные скамьи, которые при помощи черепков и кирпича держались в равновесии на кочках пола, бугристого, как шкурка гигантского апельсина. Тут и там были раскиданы стулья, состоявшие из трех колышков, вделанных в дощечку, причем один из них протыкал ее насквозь и поддерживал поперечинку, которая на худой конец могла служить спинкой людям неизбалованным, меж тем как сибарит счел бы ее орудием пытки. Некое подобие ларя занимало один из углов, дополняя меблировку, в которой грубость материала соперничала с топорностью работы. Еловые лучины, насаженные на железки, освещали все это красноватым пламенем, и чад от него где-то вверху соединялся с дымными облаками от очага. Кровавые блики вспыхивали в темноте на кастрюлях, висевших по стенам наподобие щитов по бортам триремы, если только сравнение это не слишком возвышенно для предметов подобного рода. Полупустой бурдюк распластался на полке, опавший, мертвый, как обезглавленное тело. С потолка на железном крюке зловеще свисал длинный кусок сала, в клубах печного дыма приобретающий устрашающее сходство с висельником.

Вопреки бахвальству хозяина, у этого вертепа был весьма мрачный вид, и одинокому путнику, даже в меру боязливому, могли бы прийти на ум весьма неприятные мысли, вплоть до опасения, что в обычное меню трактира входит паштет из человеческого мяса, изготовленный за счет беззащитных постояльцев; но труппа комедиантов была слишком многочисленна для того, чтобы подобные страхи могли овладеть славными лицедеями, приученными за свою кочевую жизнь к самым необычным жилищам.

Когда актеры вошли, на краю одной из скамей дремала девочка лет восьми или девяти, – по крайней мере на вид этому чахлому заморышу нельзя было дать больше. Девочка сидела, опершись на спинку скамьи и опустив голову на грудь, так что спутанные пряди длинных волос закрывали ей лицо. Жилы на ее худенькой шейке, похожей на шею общипанной птицы, казалось, напряглись от тяжести косматой головы. Руки бессильно висели по бокам туловища ладонями наружу, а перекрещенные ноги болтались, не доставая до земли. Эти тонкие, как веретенца, ноги под влиянием стужи, солнца и непогоды приняли кирпичную окраску. Бессчетные царапины, иные зажившие, другие свежие, служили наглядным доказательством постоянных путешествий сквозь заросли и чащобы. На этих ногах, изящных и маленьких от природы, были сапожки из пыли и грязи, другой же обуви они, по-видимому, не знали.

Несложный наряд девочки состоял из двух предметов: рубахи такого толстого холста, какой не годится даже для парусов, и желтого безрукавного балахона, скроенного когда-то на арагонский лад из наименее потертого полотна материнской бумазейной юбки. Вышитая разноцветными шерстями птичка, обычное украшение таких юбок, попала сюда, вероятно, потому, что шерстяные нити лучше скрепляли прохудившуюся ткань, и производила здесь странное впечатление. Птичий клюв приходился у талии девочки, лапы – у самой кромки, а тельце, смятое и исковерканное складками, принимало причудливые формы летающих химер в bestiариях или на старинных византийских мозаиках.

Изабелла, Серафина и Субретка сели рядом с девочкой, и всех их в совокупности еле хватило на то, чтобы уравновесить тяжесть Дуэньи, занявшей противоположный конец скамьи. Мужчины расположились на других скамейках, почтительно оставляя некоторое расстояние между собой и бароном.

Несколько охапок хвороста оживили огонь в очаге, и треск сухих веток, извивавшихся в пламени, поднял дух путников, утомленных от целого дня пути и бессознательно ощущавших влияние болотной лихорадки, которая распространена в этой местности, окруженной застойными водами, потому что непроницаемая почва не способна их впитать.

Чирригири учтиво приблизился к гостям, придав своей отталкивающей физиономии по возможности приветливый вид:

– Чем прикажете попотчевать ваши милости? В моем доме обычно имеется все, чем можно угодить знатным господам. Какая жалость, что вы не приехали хотя бы вчера! У меня была приготовлена кабанья голова с фисташками, так сдобренная пряностями, столь приятная на запах и на вкус, что от нее, увы, не осталось даже чем заткнуть дырку в зубе!

– Это в самом деле весьма прискорбно, – заметил Педант, сладострастно обливаясь от одного представления о таком деликатесе, – кабанья голова с фисташками – мое любимейшее яство. Вот чем я охотно испортил бы себе желудок!

– А что бы вы сказали о паштете из дичи, который поели остановившиеся у меня сегодня утром господа, беспощадно истребив все сооружение до последней корочки?

– Я сказал бы, дядюшка Чирригири, что то была превосходная еда, и я воздал бы должное несравненному мастерству повара; но зачем с такой жестокостью разжигать наш аппетит миражем блюд, кем-то запиваемых в данный миг, ибо вы не пожалели ни перца, ни гвоздики, ни мускатного ореха, ни других возбuditелей жажды. Взамен этих кушаний, приказавших долго жить, кушаний, чей отменный вкус не подлежит сомнению, но не может подкрепить нас, назовите нам лучше дежурные блюда, ибо прошедшее время вызывает одну лишь досаду, когда дело касается кухни, и голодному желудку всего милее за столом изъяснительное в настоящем времени. К черту прошедшее, в нем отчаяние и пост! Будущее же по крайней мере позволяет желудку предаваться сладостным мечтам. Пожалейте же горемык, усталых и голодных, как охотничьи псы, и не терзайте нас рассказами о былых лакомствах!

– Вы правы, почтеннейший, воспоминанием сыт не будешь, – подтвердил Чирригири, – я только не могу не посетовать, что так неосмотрительно растратил все запасы. Вчера еще кладовая ломилась у меня от снеди, а я не далее как два часа тому назад имел неосторожность отправить в замок шесть горшочков паштета из утиных печенок. И какие то были печенки – великолепные, грандиозные, поистине лакомые кусочки!

– Ох, какой брачный пир у Гамаша или в Кане Галилейской можно бы справить с теми блюдами, что уничтожены у вас дотла более удачливыми постояльцами! Но перестаньте нас томить; описав нам все, чего у вас нет, скажите без лишних слов, что же у вас есть.

– И то правда. У меня есть похлебка с гусиными потрохами и капустой, есть ветчина и вяленая треска, – признался трактирщик, изображая смущение, точно застигнутая врасплох хорошая хозяйка, муж которой привел к обеду троих или четверых гостей.

– Отлично! – хором закричали проголодавшиеся актеры. – Давайте нам треску, ветчину и похлебку.

– Зато какова, я вам скажу, похлебка! – взбодрившись, раскатистым басом подхватил трактирщик. – Греночки поджарены на чистейшем гусином жиру, цветная капуста на вкус амброзия, в Милане не сыщешь лучшей, на заправку пошло сало белее снега на вершине Маладетты; не похлебка, а пища богов!

– У меня уже слюнки потекли! Подавайте скорее, не то я сдохну с голоду! – возопил Тиран с видом людоеда, почуявшего свежее мясо.

– Сагаррига, скорее накрывай на стол в большой комнате! – крикнул Чирригири слуге, вероятно, воображаемому, так как тот не подал ни малейших признаков жизни, несмотря на столь настойчивый призыв хозяина. – Я уверен, что и ветчина придется по вкусу вашим милостям, она может соперничать с лучшими ла-маншскими и байоннскими окороками. Она уварена в каменной соли, и как же аппетитно мясо, прослоенное розовым жиром!

– Мы свято верим вам, – перебил Педант, теряя терпение, – но поживее подавайте эту ветчинную диковину, иначе здесь разыграются сцены людоедства, как на потерпевших крушение галионах и каравеллах. А мы не совершали ни одного преступления в духе небезызвестного Тантала, и не за что нас мучить видимостью неуловимых кушаний.

– Вы говорите сущую истину, – невозмутимо ответил Чирригири. – Эй, вы там, кухонная братия! Пошевеливайтесь, поворачивайтесь, поспешайте! Наши благородные гости проголодались и не желают ждать!

Кухонная братия не откликнулась так же, как и вышеназванный Сагаррига, по той веской, если и не уважительной причине, что она ни в данное время, ни вообще не существовала. Единственной служанкой в харчевне была высокая, тощая и растрепанная девушка по имени Мионетта, но воображаемая дворня, которую беспрестанно призывал Чирригири, по его мнению, придавала харчевне внушительность, оживляла, населяла ее и оправдывала высокую плату за еду и ночлег. Хозяин «Голубого солнца» так привык выкликать по имени своих химерических слуг, что и сам уверовал в их существование и чуть что не удивлялся, почему они не требуют жалованья, впрочем, он мог быть только признателен им за такую деликатность.

Угадывая по вялому стуку посуды в соседней комнате, что ужин еще не готов, и желая выиграть время, трактирщик занялся восхвалением трески, – тема довольно скудная и требовавшая незаурядного красноречия. К счастью, Чирригири научился приправлять пресные блюда пряностью своих речей.

– Вашим милостям треска, конечно, представляется грубой пищей, и в этом есть доля правды; однако треска треске рознь. Моя треска была выловлена у самых

отмелей Новой Земли самым отважным рыбаком Гасконского залива. Эта треска отборная, белая, отменного вкуса и совсем не жесткая; если ее пожарить в прованском масле, она будет куда лучше лососины, тунца и меча-рыбы. Наш святой отец папа римский – да отпустит он нам грехи наши – другой и не употребляет постом; кушает он ее также по пятницам и по субботам и в другие постные дни, когда ему уж очень придется чирки да турпаны. Пьер Леторба, мой поставщик, снабжает также и его святейшество. Папской треской, черт побери, пренебрегать негоже, и вы, ваши милости, не побрезгуете ею, на то вы и добрые католики.

– Никто из нас и не ратует за скоромную убоину, и мы почтем за честь наесться папской треской; только какого дьявола эта сказочная рыба медлит спрыгнуть со сковороды в тарелку – ведь мы, того и гляди, превратимся в дым, как призраки и лемуры на утренней заре, едва запоет петух.

– Есть жаркое раньше супа никак не пристало; с гастрономической точки зрения это все равно что впрягать повозку впереди волов, – с величайшим презрением объявил Чирригири, – воспитание удержит ваши милости от такого неприличия. Потерпите! Похлебка должна еще вскипеть разок-другой.

– Клянусь рогами дьявола и папским пупом, согласен на самую спартанскую похлебку, лишь бы ее подали немедленно! – взревел Тиран.

Барон де Сигоньяк ничего не говорил и не выражал ни малейшего нетерпения – ведь он ужинал накануне! Постоянно недоедая в своей цитадели голода, он поднаторел в монашеском воздержании, и столь частое потребление пищи было внове его желудку. Изабелла и Серафина тоже не жаловались, ибо прожорливость не к лицу молодым дамам, которым полагается, точно пчелкам, насыщаться росой и цветочной пылью. Пекущийся о своей худобе Матамор, казалось, был в восторге от того, что ему удалось затянуть кушак на следующую дырку, где вдобавок свободно гулял язычок пряжки. Леандр зевал, щеголяя зубами. Дуэнья задремала, и три складки дряблой кожи выпятились валиками из-под ее склоненного подбородка.

Девочка, спавшая на другом конце скамьи, проснулась и вскочила. Она откинула с лица черные как смоль волосы, которые словно слиняли ей на лоб, настолько он был смугл. Но сквозь загар проглядывала восковая бледность, тусклая, закоренелая бледность. Ни кровинки на щеках с выступающими скулами. Кожа растрескалась мелкими чешуйками на синеватых губах, в болезненной улыбке

открывавших перламутровую белизну зубов. Вся ее жизнь как будто сосредоточилась в глазах.

Они казались огромными на худеньком личике, а чернота, ореолом окружавшая их, подчеркивала лихорадочно-таинственный блеск этих глаз. Белки же казались почти голубыми, так выделялись на них темные зрачки и так оттеняли их два ряда густых длинных ресниц. В данный миг эти удивительные глаза, прикованные к украшениям Изабеллы и Серафины, выражали детский восторг и кровожадную алчность. Маленькая дикарка, конечно, не подозревала, что эти мишурные драгоценности не имеют никакой цены. Сверкание золотого галуна, переливы поддельного венецианского жемчуга ослепили и зачаровали ее. Очевидно, она в жизни своей не видела такого великолепия. Ноздри ее раздувались, легкий румянец выступил на щеках, злобная усмешка искривила бледные губы, и зубы временами стучали дробно, как в ознобе.

По счастью, никто из труппы не обратил внимания на жалкий комок тряпья, сотрясаемый нервной дрожью, ибо дикое и жестокое выражение мертвенно-бледного личика могло напугать хоть кого.

Не в силах совладать со своим любопытством, девочка протянула тонкую смуглую и холодную ручку, похожую на обезьянью лапку, и со сладострастным трепетом пощупала платье Изабеллы. Этот потертый, залоснившийся на сгибах бархат казался ей новехоньким, самым богатым, самым пушистым в мире.

Как ни легко было прикосновение, Изабелла обернулась, увидела жест девочки и по-матерински ласково улыбнулась ей. Но та, едва лишь почувствовала на себе посторонний взгляд, мигом придала своему лицу прежнее тупое и сонливобесмысленное выражение, показав такое врожденное мимическое мастерство, которое сделало бы честь самой искушенной в своем ремесле актрисе, и при этом протянула тоненьким голоском:

– Совсем как покров Богородицы на алтаре.

Затем, опустив ресницы, черная бахрома которых доходила до самых щек, она откинулась на спинку скамьи, сложила руки, сплела большие пальцы и притворилась, будто заснула, сморенная усталостью.

Долговязая растрепанная Мионетта объявила, что ужин готов, и вся компания отправилась в соседнюю комнату.

Актеры отдали должное кушаньям дядюшки Чирригири и, хотя не получили обещанных деликатесов, тем не менее утолили голод, а главное, жажду, подолгу прикладываясь к бурдюку, который совсем почти опал, точно волынка, откуда вышел весь воздух.

Все уже собрались встать из-за стола, как около харчевни послышался лай собак и топот копыт. Затем раздался троекратный властный и нетерпеливый стук, показывавший, что новый гость не привык долго ждать. Мионетта бросилась в сени, отодвинула засов, и, с размаху распахнув дверь, в комнату вошел мужчина, окруженный сворой собак, которые чуть не сбили с ног служанку и принялись прыгать, скакать, вылизывать остатки кушаний с тарелок, мгновенно выполнив работу трех судомоек.

От хозяйской плетки, хлеставшей без разбора правых и виноватых, сумятица, как по волшебству, улеглась; собаки забились под скамьи, тяжело дыша, высунув язык, положив голову на лапы или свернувшись клубком, а приезжий, с уверенностью человека, который везде чувствует себя как дома, вошел, громко звеня шпорами, в ту горницу, где ужинали комедианты. Чирригири, держа берет в руке, семенил за ним с заискивающе-робким видом, хотя был не из боязливых.

Приехавший остановился на пороге, небрежно коснулся рукой края шляпы и равнодушным взором оглядел комедиантов, которые, в свою очередь, отдали ему поклон.

Это был мужчина лет тридцати - тридцати пяти; белокурые волосы, завитые в длинные локоны, обрамляли жизнерадостную физиономию, покрасневшую от ветра и быстрого движения. Глаза у него были ярко-голубые, блестящие и выпуклые, нос слегка вздернутый и приметно раздвоенный на конце. Рыжеватые усики, нафабранные и закрученные кверху в форме запятых, служили дополнением к эспаньолке, напоминавшей листик артишока. Между усиками и бородкой улыбался румяный рот, причем тонкая верхняя губа сглаживала впечатление чувственности, производимое полной, красной, прорезанной поперечными бороздками нижней губой. Подбородок круто загибался вниз, отчего эспаньолка стояла торчком. Когда он бросил шляпу на скамью, обнажился белый гладкий лоб, обычно защищенный от жарких солнечных лучей полями шляпы, из чего явствовало, что у его обладателя до того, как он покинул

двор для деревни, был очень нежный цвет лица. В целом весь облик оставлял приятное впечатление: веселость беззаботного гуляки весьма кстати смягчала высокомерие, присущее вельможе. Элегантный костюм вновь прибывшего доказывал, что маркиз – ибо таков был его титул – даже из своей глуши поддерживал связь с лучшими портными и модистками.

Просторный кружевной воротник был откинут на короткий камзол ярко-желтого сукна, расшитый серебряным аграмантом, из-под него на панталоны ниспадала волна тончайшего батиста. Рукава этого камзола, или, вернее, курточки, открывали рубашку до локтя; голубые панталоны, украшенные спереди каскадом лент соломенного цвета, спускались чуть пониже колен до сафьяновых сапог с серебряными шпорами. Голубой плащ, окаймленный серебряным галуном, подхваченный на одном плече бантом, довершал весь наряд, быть может, чересчур франтоватый для данного места и времени года, но нам достаточно двух слов, чтобы оправдать его, – маркиз был приглашен на охоту красавицей Иолантой и для этого случая разоделся в пух и прах, желая поддержать свою давнюю репутацию, недаром он слыл щеголем на Кур-ла-Рен, среди самых изысканных модников.

– Еды моим псам, овса моей лошади, ломоть хлеба с ветчиной мне самому и каких-нибудь объедков моему егерю! – весело крикнул маркиз, садясь с краю стола возле Субретки, которая при виде такого блистательного кавалера встретила его зажигательным взглядом и неотразимой улыбкой.

Чирригири поставил перед маркизом оловянную тарелку и кубок, который Субретка с грацией Гебы наполнила до краев, а маркиз осушил одним духом. Первые минуты были посвящены утолению охотничьего голода, самого свирепого из всех видов голода, по жестокости своей равного тому, что у греков зовется булимией; потом маркиз обвел взглядом стол и заметил сидевшего подле Изабеллы барона де Сигоньяка, которого знал в лицо и только что встретил на дороге, когда вместе с другими охотниками проезжал мимо повозки комедиантов.

Барон что-то нашептывал Изабелле, а она улыбалась ему той томной, еле уловимой улыбкой, которую можно назвать лаской души, выражающей скорее симпатию, нежели веселость, и которой не обманешь человека, привычного к общению с женщинами, а в такого рода опыте у маркиза не было недостатка. Теперь его уже не удивляло присутствие Сигоньяка в бродячей труппе, и презрение, которое внушал ему убогий вид бедняги барона, значительно

смягчилось. Намерение следовать за возлюбленной в повозке Феспида, подвергаясь всем комическим и трагическим случайностям кочевой жизни, казалось ему теперь проявлением романтического склада и широтой натуры. Он дал понять Сигоньяку, что узнал его и сочувствует его побуждениям; однако как человек поистине светский не стал открывать инкогнито барона и всецело занялся Субреткой, осыпая ее головокружительными комплиментами, частью искренними, частью шутливыми, на которые она отвечала в тон, заразительно смеясь и пользуясь случаем щегольнуть своими великолепными зубами.

Желая дать ход столь заманчивому приключению, маркиз счел за благо показать себя вдруг страстным любителем и великим знатоком театра. Он посетовал на то, что лишен в деревне удовольствия, которое дает пищу уму, оттачивает речь, учит тонким манерам и совершенствует нравы, и, обращаясь к Тирану, очевидно, главе труппы, спросил его, нет ли у того обязательств, которые помешали бы ему представить несколько лучших пьес своего репертуара в замке Брюйер, где легко соорудить сцену в бальной зале или в оранжерее.

Добродушно ухмыляясь в щетину своей окладистой бороды, Тиран ответил, что это проще простого и что его труппа, лучшая из всех странствующих по провинции, охотно предоставит себя в распоряжение его светлости – «вся целиком, начиная от Короля и кончая Субреткой», – добавил он с деланным простосердечием.

– Вот и отлично, – подхватил маркиз. – А с условиями затруднений не будет, цену назначайте сами; нельзя торговаться с Талией, музой, которую весьма чтит Аполлон и одинаково высоко ставят и при дворе и в столице, а также и в захолустье, где живут не такие уж простаки, как принято думать в Париже.

Сказав это и не преминув многозначительно пожать коленку Субретке, не выказавшей ни капли испуга, маркиз встал из-за стола, надвинул шляпу до бровей, жестом попрощался с актерами и ускакал под дружный лай своей своры; он спешил опередить труппу, чтобы отдать распоряжения к ее приему в замке.

Час был уже поздний, а в путь предстояло тронуться ранним утром, так как замок Брюйер находился на порядочном расстоянии от харчевни, и если берберийский конь в короткий срок может проскакать три-четыре мили по проселочным дорогам, то повозка с тяжелым грузом, запряженная порядком уже усталыми волами, будет куда дольше тащиться по песчаной колее.

Дамы удалились за перегородку в чулан, где на пол набросали сена; мужчины же остались в большой комнате и, как могли, разместились на скамьях и табуретах.

IV

Птичьи пугала

Возвратимся теперь к девочке, которую мы оставили спящей на скамейке, спящей сном чересчур глубоким, чтобы не быть притворным. Ее повадки внушают нам справедливые подозрения, и свирепая алчность, с какой ее дикие глазенки уставились на жемчужное ожерелье Изабеллы, вынуждает нас следить за каждым ее шагом.

И в самом деле, не успела затвориться за актерами дверь, как она медленно подняла тяжелые темные веки, испытующим взглядом осмотрела каждый угол комнаты и, убедившись, что все ушли, соскользнула на пол, выпрямилась, привычным движением отбросила со лба волосы, направилась к двери и бесшумно, точно тень, растворила ее. С великой осторожностью, стараясь, чтобы не щелкнул затвор, закрыла дверь и, неслышным шагом дойдя до края изгороди, обогнула ее.

Теперь, не боясь, что ее увидят из дома, она припустилась бегом, прыгая через канавки с застоявшейся водой, перескакивая через стволы срубленных елей, перемахивая заросли вереска, как лань, спасающаяся от погони. Длинные пряди волос хлестали ее по щекам, точно черные змеи, а временами падали на лоб, заслоняя глаза; тогда она на бегу с нетерпеливой досадой откидывала их ладонью за уши; впрочем, ее проворные ножки не нуждались в помощи зрения, – они вполне освоились с дорогой.

Насколько можно было судить при мертвом свете луны, прикрытой тучей, словно бархатной полумаской, местность была необычайно мрачная и зловещая. Одиноким елям, которым зарубки для добывания смолы сообщали сходство с призраками зарезанных деревьев, выставляли свои кровоточащие раны над краем песчаной дороги, белеющей даже в ночной тьме. За ними в обе стороны простирались темно-фиолетовые поля вереска, где грядой клубился сероватый

туман, в лучах ночного светила казавшийся хороводом привидений, что само по себе могло вселить ужас в людей суеверных или мало знакомых с природными особенностями этих диких мест.

Девочка, должно быть, привычная к фантазмагориям пустынного пейзажа, невозмутимо продолжала свой стремительный путь. Наконец она достигла небольшого холма, увенчанного двадцатью – тридцатью елями, образовавшими нечто вроде леска. С необычайным проворством, без тени усталости, взобралась она вверх по крутому склону на вершину пригорка. Отсюда, с возвышенности, она огляделась вокруг своими зоркими глазами, казалось, пронизывавшими все покровы мрака, но, ничего не увидев, кроме безбрежной пустыни, сунула два пальца в рот и трижды свистнула, – от этого свиста путник, пробирающийся ночью лесами, всегда втайне содрогается, хотя и приписывает его пугливым неясностям или другим столь же безобидным тварям. Если бы не пауза между каждым свистом, его можно было бы принять за гуканье орланов, осоедов и сов, столь совершенно было подражание.

Вскоре поблизости зашевелилась гряда листьев, поднялась горбом, встряхнулась, как разбуженный зверь, и перед девочкой медленно выросла человеческая фигура.

– Это ты, Чикита? – сказал проснувшийся. – Что нового? Я уже перестал тебя ждать и вздремнул немного.

Тот, кого разбудил призыв Чикиты, был коренастый малый лет двадцати пяти – тридцати, сухощавый, подвижный и, казалось, готовый на любое нечистое дело; он мог быть браконьером, контрабандистом, тайным солеваром, вором и разбойником: этими благородными ремеслами он и занимался либо порознь, либо всеми сразу – смотря по обстоятельствам.

Луч луны, упавший на него сквозь тучи, будто сноп света в отверстие потайного фонаря, выхватил его из темной стены елей, и подвернись тут зритель, он мог бы разглядеть и облик бандита, и его нарочито разбойничий наряд. На лице, медно-красном от загара, как у дикаря-караиба, сверкали глаза хищной птицы и ослепительно-белые зубы с заостренными, точно у молодого волка, клыками. Лоб, как у раненого, был повязан платком, сдерживавшим копну жестких курчавых и непокорных волос, торчком стоявших на макушке; на нем была синяя плисовая куртка, выцветшая от долгого употребления, с монетами на проволочных ушках вместо пуговиц, и широкие холщовые штаны; завязки от

веревочных туфель переkreщивались на крепких и сухопарых, как у оленя, икрах. Наряд этот завершался широким красным шерстяным поясом, несколько раз обмотанным вокруг туловища от бедер до подмышек. Пояс оттопыривался посреди живота, указывая местонахождение съестных припасов и капиталов; если бы малый повернулся, за спиной его обнаружилась бы торчавшая сверху и снизу из-за пояса огромная валенсийская наваха, одна из тех рыбовидных навах, клинок которых укрепляется поворотом медного кольца и носит на своей поверхности столько красных отметок, сколько хозяин ее совершил убийств. Нам неизвестно, сколько кровавых зарубок насчитывала наваха Агостена, но, судя по его виду, можно было, не поступаясь справедливостью, заключить, что их немало.

Таков был знакомец Чикиты, с которым она поддерживала какие-то таинственные отношения.

– Ну, как, Чикита? Видела ты что-нибудь примечательное в харчевне дядюшки Чирригири? – спросил Агостен, ласково проводя шершавой ладонью по волосам девочки.

– Туда приехала повозка, полная людей, – ответила Чикита. – В сарай внесли пять больших сундуков, наверно, очень тяжелых, потому что для каждого понадобилось два человека.

– Гм! – протянул Агостен. – Случается, путешественники для пущей важности набивают сундуки камнями, видали мы такое.

– Но тут у трех молодых дам платья обшиты золотым позументом, – возразила Чикита. – А у самой красивой на шее нитка большущих белых зерен – при огне они отливают серебром; ох и какая же это красота! Какая роскошь!

– Жемчуг! Недурно! – сквозь зубы пробормотал бандит. – Только б он не был фальшивым. Теперь его превосходно подделывают в Мурано, а у нынешних любезников нет никаких нравственных правил!

– Милый Агостен, – вкрадчиво продолжала Чикита, – когда ты перережешь горло той красивой даме, ты отдашь мне ожерелье?

– Только его тебе не хватало! Оно бы чудо как подошло к твоей лохматой голове, к твоей замурзанной рубашке и канареечной юбчонке.

– Я столько раз выслеживала для тебя добычу и, когда от земли подымался туман, бегала босиком по росе, не жалея ног, лишь бы вовремя предупредить тебя. Ведь я ни разу не оставила тебя голодным, таскала еду в твои тайники, хоть сама и щелкала зубами от лихорадки, как цапля клювом на краю болота, из последних сил продиралась сквозь заросли и колючки.

– Да, ты отважный и верный друг, – подтвердил бандит, – однако ожерелье-то еще не у нас в руках. Сколько ты насчитала мужчин?

– Ой, много! Один высокий и толстый, весь оброс бородой, один старый, двое худых, один – похожий на лисицу и еще молодой, с виду – дворянин, хоть и плохо одет.

– Шесть мужчин, – задумчиво произнес Агостен, считая по пальцам. – Увы! Прежде это количество не смутило бы меня! Но я остался один изо всей шайки. Есть у них оружие, Чикита?

– У дворянина есть шпага, а у длинного тощего – рапира.

– Ни пистолетов, ни пищалей?

– Не видала, разве что их оставили в повозке, – ответила Чикита. – Но тогда Чирригири или Мионетта предостерегли бы меня.

– Ну что ж, попытаемся, устроим засаду, – решил Агостен. – Пять сундуков, золотое шитье, жемчужное ожерелье. Мне случалось работать и ради меньшего.

Разбойник и девочка вошли в лесок. Добравшись до самого глухого места, они принялись раскидывать камни и валежник, пока не докопались до засыпанных землей пяти-шести досок. Агостен поднял доски, отбросил их в сторону и по пояс спустился в яму, которую они прикрывали. Был ли это вход в подземелье или в пещеру – обычное убежище разбойников? Или тайник, где он хранил награбленное добро? Или же склеп, куда сваливал трупы своих жертв?

Последнее предположение показалось бы всякому самым правдоподобным, если бы на месте действия были еще свидетели, кроме громоздившихся на елях галок.

Агостен нагнулся, порылся на дне ямы, выволок наружу человеческую фигуру, застывшую в неподвижности, как мертвое тело, и без церемоний швырнул ее на край ямы. Ничуть не смутившись таким обращением с покойником, Чикита за ноги оттащила тело на некоторое расстояние, обнаружив неожиданную для столь хрупкого создания силу. Продолжая свою жуткую работу, Агостен достал из этой усыпальницы еще пять трупов, которые девочка положила рядом с первым, улыбаясь, как юная ведьма, готовящая себе кладбищенский пир. Зияющая могила, бандит, который тревожит прах своих жертв, и девочка, что помогает ему в этом нечестивом деле, – такая картина на фоне черных елей могла бы привести в трепет любого храбреца.

Разбойник взял один из трупов, отнес на вершину холма и придал ему стоячее положение, воткнув в землю кол, к которому тот был привязан. В такой позе труп мог издали сойти за живого человека.

– Увы, до чего довели меня тяжелые времена, – горестно вздохнул Агостен. – Вместо шайки бравых молодцов, владеющих ножом и мушкетом под стать отборным солдатам, у меня остались только чучела, одетые в лохмотья, пугала для проезжих – безгласные созерцатели моих одиноких подвигов! Вот это был Матасьерпес, храбрый испанец, мой закадычный друг, милейший малый; своей навахой он метил физиономии прохвостов не хуже, чем кистью, обмакнутой в красную краску. Кстати, чистокровный дворянин, горделив, будто произошел от бедра Юпитера, подставлял дамам руку, высаживая их из кареты, и с королевским величием обчищал горожан. Вот его плащ, его пояс, его сомбреро с алым пером, – я благоговейно, точно реликвии, выкрал эти вещи у палача и нарядил в них соломенное чучело, которое заменяет юного героя, достойного лучшего удела. Бедный Матасьерпес! Ему очень не хотелось, чтобы его вешали. И не то что он боялся смерти – нет, в качестве дворянина он претендовал на право быть обезглавленным. К несчастью, он не носил при себе своей родословной, и ему пришлось умереть стоймя.

Вернувшись к яме, Агостен взял другое чучело, в синем берете.

– А это Искибайвал – знаменитый храбрец, он был горяч в деле, но порой проявлял слишком много рвения и крушил все вокруг – а какого черта зря

истреблять клиентуру? В остальном он не был жаден к добыче, всегда довольствовался своей долей. Золотом он пренебрегал и любил только кровь, – истый молодец! А как он гордо держался под пыткой в тот день, когда его колесовали среди площади в Ортеце! Регул и апостол Варфоломей не терпеливее его сносили мучения. Это был твой отец, Чикита; почти его память и помолись за упокой его души.

Девочка осенила себя крестом, и губы ее зашевелились, очевидно, произнося слова молитвы.

Третье пугало со шлемом на голове в руках Агостена издало лязг железа. На изодранном кожаном колете тускло мерцал железный нагрудный щит, а на бедрах болтались застёжки. Бандит для пущего блеска потёр доспехи рукавом.

– Блеск металла во мраке внушает иногда благодетельный ужас. Люди думают, что перед ними отпускные солдаты. А это был истый рыцарь большой дороги – он действовал на ней, как на поле брани, – хладнокровно, обдуманно, по всем правилам. Пистолетный выстрел в упор похитил его у меня. Какая невозместимая утрата! Но я отомщу за его смерть!

Четвёртый призрак, закутанный в редкий, как сито, плащ, был, подобно остальным, почтен надгробным словом. Он испустил дух во время пытки, из скромности не пожелав сознаться в своих деяниях, с героической стойкостью отказываясь открыть не в меру любопытному правосудию имена своих сотоварищей.

По поводу пятого, изображавшего Флоризеля из Бордо, Агостен воздержался от дифирамбов, ограничившись сожалением в сочетании с надеждой. Флоризель, первый в провинции ловкач по части карманных краж, был удачливее своих собратьев: он не болтался на крюке виселицы, его не поливали дожди и не клевали вороны. Он путешествовал за счёт государства по внешним и внутренним морям на королевских галерах. Этот, хотя и был простым воришкой среди матерых разбойников, лисенок в стае волков, однако подавал большие надежды и, пройдя выучку на каторге, мог стать настоящим мастером; совершенство сразу не дается. Агостен с нетерпением ждал, чтобы этот славный малый сбежал с галер и вернулся к нему.

Шестой манекен, толстый и приземистый, в балахоне, опоясанном широким кожаным ремнем, в широкополой шляпе, был поставлен впереди остальных, как начальник команды.

– Это почетное место по праву принадлежит тебе, – обратился к пугалу Агостен, – тебе, патриарху благородной вольницы, Нестору воровской братии, Улиссу клещей и отмычек, о великий Лавидалот, мой воспитатель и наставник. Ты посвятил меня в рыцари больших дорог, из нерадивого школяра выпестовал опытного головореза. Ты обучил меня пользоваться воровским наречием и принимать в опасную минуту любой облик, как блаженной памяти Протей; ты обучил меня с тридцати шагов попадать в сучок на доске, гасить выстрелом свечу, как ветерок проскальзывать в замочную скважину, точно в шапке-невидимке шмыгать по чужим домам, безо всякой волшебной палочки отыскивать самые хитрые тайники. Сколько глубоких истин преподавал ты мне, великий мудрец, какими убедительными доводами доказал, что работа удел дураков! О, зачем мачехе-судьбе угодно было уморить тебя голодом в пещере, где все входы и выходы охраняли солдаты, но куда сами они не смели проникнуть, – кому охота, будь ты трижды храбрец, лезть в логово льва? Даже умирая, он может когтями или зубами прикончить с полдюжины молодцов. А теперь ты, чьим недостойным преемником мне довелось стать, возьми на себя умелое предводительство этим смехотворным отрядом воображаемых солдат, соломенных вояк, призраками тех, кого мы утратили и кто, даже упокоясь навек, подобно мертвому Сиду, способен выполнить свое отважное дело. Ваших теней, доблестные разбойники, достанет на то, чтобы обобрать этих лодырей.

Покончив со своей задачей, бандит пошел взглянуть, какое впечатление производят с дороги его ряженые. У соломенных бандитов вид был довольно свирепый и устрашающий – с перепугу всякий мог обмануться, узрев их во мраке ночи или в предутренней мгле, в тот смутный час, когда старые придорожные ветлы с обломанными ветвями похожи на людей, грозящих кулаком или заносящих нож.

– Агостен, ты забыл вооружить их! – напомнила Чикита.

– В самом деле, и как я это упустил? – ответил бандит. – Правда, и у величайших гениев бывают минуты рассеянности. Впрочем, это дело поправимое.

И он всунул в неподвижные руки чучел старые стволы мушкетов, ржавые шпаги и даже просто палки, нацелив их, как дула; с таким арсеналом шайка на

вершине холма приобрела в достаточной мере грозное обличье.

– От деревни до трактира, где можно пообедать, перегон довольно длинный, значит, выедут они часа в три утра. И когда будут проезжать мимо засады, едва только начнет светать, что всего благоприятнее для наших воинов. Дневной свет выдал бы их, а ночной мрак сделал бы вовсе не видимыми. Пока что вздремнем немного. Колеса в повозке немазанные, их скрип, от которого разбегаются даже волки, будет слышен издали и разбудит нас. Наш брат спит, как кошки, вполглаза, так что мы мигом будем на ногах!

С этим Агостен улегся на сноп вереска. Чикита прикорнула возле него, чтобы воспользоваться краем валенсийского плаща, служившего ему одеялом, и хоть немного согреть свое бедное тельце, которое трясла лихорадка. Вскоре ей сделалось тепло, зубы перестали стучать, и она перекочевала в царство снов. Мы вынуждены признаться, что в ее детских грезах не витали розовые херувимчики с белыми крылышками вместо шейных платочков, не блябли чисто вымытые барашки, украшенные ленточками, и не возвышались леденцовые дворцы с цукатными колоннами. Нет, ей снилась отрубленная голова Изабеллы, которая держала в зубах жемчужное ожерелье и прыгала из стороны в сторону, стараясь увернуться от протянутых рук девочки. Чикита так металась во сне, что будила Агостена, и он ворчал, прерывая храп:

– Если ты не угомонишься, я отправлю тебя пинком в овраг барахтаться с лягушками.

Чикита знала, что Агостен слов на ветер не бросает, и теперь боялась шевельнуться. Вскоре только ровное дыхание обоих выдавало присутствие живых тварей в этом мрачном безлюдии.

Посреди ланд бандит и его маленькая сообщница еще пили блаженный напиток из черной чаши сна, когда в харчевне «Голубое солнце» погонщик, постучав палкой оземь, разбудил актеров и сказал, что пора трогаться в путь.

Все кое-как разместились в повозке на торчавших уступами сундуках, и Тиран сравнил себя с небезызвестным Полифемом, возлежавшим на гребне горы, что не помешало ему тут же захрапеть во всю мочь; женщины забрались в самый дальний конец под навес и довольно удобно устроились на валике из свернутых декораций. Несмотря на ужасающий скрип колес, которые стонали, визжали,

рычали, хрипели, путники забылись тяжелым сном с нелепыми, несвязными кошмарами, где грохот и лязг повозки превращался в рев диких зверей или в крики умерщвляемых младенцев.

Сигоньяк, возбужденный новизной приключения и суетой кочевой жизни, столь отличной от монастырской тишины в его родном замке, один шагал рядом с фургоном. Он мечтал о нежной прелести Изабеллы, чья красота и скромность скорее были свойственны благородной девице, нежели странствующей актрисе, и старался придумать, как бы заслужить ее любовь, не подозревая, что дело уже сделано, что он затронул самые чувствительные струны ее души и милая девушка отдаст ему сердце в тот же миг, когда он об этом попросит. Робкий барон воображал уйму страшных и необычайных приключений, самоотверженных подвигов в духе рыцарских романов, чтобы иметь повод к дерзкому признанию, от которого у него заранее захватывало дух; а между тем это немислимое признание уже было ясно выражено огнем его глаз, дрожью в голосе, приглушенными вздохами, неловким вниманием, которым он окружал Изабеллу, и рассеянными ответами на вопросы других комедиантов. Хотя он не произнес ни слова о любви, у молодой женщины на этот счет не оставалось сомнений.

Забрезжило утро. По краю равнины протянулась полоска бледного света, и на ней четко, несмотря на расстояние, обрисовались черные контуры трепещущего вереска и даже кончики трав. Тронутые первым лучом лужицы засверкали, как осколки разбитого зеркала. Послышались легкие шорохи, и в недвижимом воздухе вверх потянулись дымки, говоря о том, что в разных точках этой пустыни возобновилась деятельная человеческая жизнь. На порозовевшей ленте зари возник странный силуэт, похожий издали на циркуль, которым невидимый геометр вздумал бы измерять ланды. Это пастух на ходулях, точно гигантский паук-сенокосец, шагал по пескам и болотам.

Зрелище это не было внове для Сигоньяка и не занимало его; но, несмотря на глубокое раздумье, он все же обратил внимание на блестящую точку, сверкавшую в густой еще тени той купы елей, где мы оставили Агостена и Чикиту. Это не мог быть светляк; пора, когда любовь зажигает червяков своим фосфорическим сиянием, миновала за несколько месяцев до того. Может быть, то смотрела из темноты одноглазая ночная птица? Точка ведь была одна. Но такое предположение не удовлетворило Сигоньяка; мерцающий огонек напоминал скорее зажженный фитиль мушкета.

А повозка меж тем продолжала путь. Сигоньяк, приблизившись к ельнику вместе с ней, различил на краю холма странные фигуры, расположенные группой, как бы в засаде, и еще неясно очерченные первыми лучами рассвета, но, ввиду полной их неподвижности, он решил, что это попросту старые пни, посмеялся в душе над своими страхами и не стал будить актеров, как собрался было сперва.

Повозка продвинулась еще на несколько шагов. Блестящая точка, с которой Сигоньяк не сводил глаз, переместилась. Длинная струйка огня прорезала облако беловатого дыма; гулко прогремел выстрел, и пуля, сплющившись, ударилась об ярмо над головами волов, которые шарахнулись в сторону и потянули за собой повозку, но куча песка, по счастью, задержала ее на краю канавы.

Актеры вмиг проснулись от выстрела и толчка: молодые женщины подняли пронзительный крик. Только видавшая виды старуха молча предосторожности ради переложила свою наличность – две-три штуки дублонов – из-за пазухи в башмак.

Встав наперерез повозке, из которой пытались выбраться актеры, Агостен обмотал вокруг локтя валенсийский плащ и потрясал навахой, громовым голосом выкрикивая:

– Кошелек или жизнь! Сопротивляться бесполезно. Малейшее неповиновение, и мой отряд изрешетит вас!

Пока разбойник ставил традиционные для большой дороги условия, барон, чья гордая кровь не могла стерпеть наглость подобного проходимца, преспокойно вынул шпагу из ножен и набросился на него, Агостен отражал удары плащом и ждал благоприятной минуты, чтобы швырнуть в противника наваху; оперев рукоятку в локтевой сгиб, он резким взмахом направил лезвие в живот Сигоньяку, который, на свою удачу, не отличался дородностью. Легким движением отстранился он от смертоносного острия: нож пролетел мимо. Агостен побледнел – он был обезоружен и знал, что отряд соломенных пугал не придет ему на помощь. Тем не менее, рассчитывая вызвать замешательство, он закричал:

– Эй, вы там! Пли!

Комедианты испугались обстрела, отступили и спрятались за повозку, где женщины визжали, как гусыни, которых ощипывают заживо. Даже Сигоньяк при всей своей храбрости пригнул голову.

Чикита, раздвинув ветки, наблюдала происходящее из-за куста, а теперь, когда увидела, в какое опасное положение попал ее друг, поползла, точно ящерица, по дорожной пыли, незаметно подобрала нож, вскочила на ноги и протянула наваху бандиту. Ничто не идет в сравнение с той дикой гордостью, которая озаряла бледное личико девочки; черные глаза метали молнии, ноздри трепетали, словно крылья ястреба, между приоткрытыми губами виднелись два ряда зубов, блестящих в свирепом оскале, как у затравленного зверька. Все ее существо дышало неукротимой негодующей злобой.

Агостен вторично замахнулся ножом, и, быть может, приключения барона де Сигоньяка оборвались бы в самом начале, если бы чьи-то железные пальцы в самый критический миг не стиснули руку бандита. Эти пальцы жали, как тиски, когда прикручивают винт, сминая мускулы и круша кости, от них вздувались жилы и кровь выступала из-под ногтей. Агостен делал отчаянные попытки высвободить руку; обернуться он не мог, барон всадил бы острие шпаги ему в спину; он пытался отбиваться левой рукой, а сам чувствовал, что правая, взятая в тиски, будет оторвана от плеча вместе со всеми жилами, если он не перестанет сопротивляться. Боль стала нестерпимой, онемевшие пальцы разжались и выпустили нож.

Избавителем Сигоньяка оказался Тиран, – подойдя сзади, он удержал руку Агостена. Но вдруг он громко вскрикнул:

– Что за черт? Какая гадюка укусила меня? Чьи-то острые клыки вонзились мне в ногу!

Действительно, Чикита, как собачонка, укусила его за икру, рассчитывая, что он обернется. Тиран, не разжимая руки, пинком отшвырнул девочку шагов на десять. Матамор, как кузнечик, согнул под острым углом свои длинные конечности, наклонился, поднял нож, закрыл его и спрятал в карман.

В течение этой сцены солнце мало-помалу выплыло из-за горизонта; часть розовато-золотого диска виднелась уже над полосой ланд, и под его беспощадными лучами чучела все явственнее теряли сходство с людьми.

– Вот так так! – воскликнул Педант. – Мушкетеры этих вояк, должно быть, медлили выстрелить по причине ночной сырости. А сами они не очень-то храбры, – видят, что их начальник в опасности, и стоят как вкопанные, подобно межевым столбам у древних!

– У них есть на то веские основания, – объяснил Матамор, взбираясь на пригорок, – это чучела, сделанные из соломы, наряженные в лохмотья, вооруженные ржавым железом и незаменимые для того, чтобы отпугивать птиц от вишневых садов и виноградников.

Шестью пинками он спихнул вниз все шесть карикатурных истуканов, и те растянулись на пыльной дороге в комических позах марионеток, у которых отпустили проволоку. Их распластанные тела казались шутовской и вместе с тем жуткой пародией на трупы, усеивающие поле брани.

– Можете выйти, сударыни, – сказал барон, обращаясь к актрисам, – бояться больше нечего, опасность была мнимая.

Агостен стоял, понутив голову, сраженный провалом своей затеи, которая обычно действовала без отказа, настолько сильна человеческая трусость и у страха велики глаза. Подле него жалась Чикита, испуганная, растерянная, взбешенная, как ночная птица, застигнутая врасплох светом дня. Бандит боялся, что актеры, воспользовавшись своим численным преимуществом, расправятся с ним сами или отдадут его в руки правосудия; но комедия с чучелами рассмешила их, и они хохотали все как один. Смех же по своей природе чужд жестокости; он отличает человека от животного и, согласно Гомеру, является достоянием бессмертных и блаженных богов, которые всласть смеются по-олимпийски в долгие досуги вечности.

Тиран, человек от природы добродушный, разжав пальцы, но все же придерживая бандита, обратился к нему трагическим театральным басом, которым пользовался иногда и в обыденной жизни:

– Ты, негодяй, напугал наших дам, и за это тебя следовало вздернуть без дальних слов; но если они, как я полагаю, по доброте сердечной, тебе простят, я не потащу тебя к судье. Ремесло доносчика мне не по вкусу, не мое дело снабжать дичью виселицу. К тому же хитрость твоя остроумна и забавна, – ничего не скажешь, ловкий способ выживать у трусливых мещан. Как

актер, искушенный в уловках и выдумках, я ценю твою изобретательность и потому склонен к снисхождению. Ты отнюдь не просто вульгарный и грубый вор, и было бы жаль помешать тебе в столь блестящей карьере.

– Увы! Я не могу избрать себе иную, – отвечал Агостен, – и достоин сожаления больше, чем вы думаете. Я остался один из всей моей труппы, а состав ее был не хуже вашего – палач отнял у меня актеров и на первые, и на вторые, и на третьи роли. И теперь весь спектакль на театре большой дороги мне приходится разыгрывать самому, говоря на разные голоса и наряжая чучела разбойниками, чтобы люди думали, будто за моей спиной целая шайка. Да, грустная мне выпала доля! Вдобавок мало кто пользуется моей дорогой, слава у нее дурная, вся она изрыта ухабами, неудобна и для пеших, и для конных, и для экипажей, ниоткуда она не идет и никуда не ведет, а приобрести лучшую у меня нет средств: на каждой более оживленной дороге есть своя братчина. По мнению лодырей, которые трудятся, путь вора усеян розами, – нет, на нем много терний! Я бы не прочь стать честным человеком; но как прикажете мне сунуться к городским воротам с такой зверской рожей и в таких дикарских отрепьях? Сторожевые псы ухватили бы меня за икры, а часовые – за ворот, если бы таковой у меня был. Вот теперь провалилось мое предприятие, а было оно так тщательно продумано и подстроено и дало бы мне возможность прожить месяца два и купить мантилью бедняжке Чиките. Мне не везет, я родился под закланной звездой. Вчера вместо обеда мне пришлось потуже затянуть пояс. Своей неуместной храбростью вы отняли у меня кусок хлеба, и уж раз мне не удалось вас ограбить, так не откажите мне в подавании.

– Это будет только справедливо, – согласился Тиран, – мы помешали тебе в твоём промысле и, значит, должны возместить убытки. Вот возьми две пистолы – выпей за наше здоровье.

Изабелла достала из повозки большой кусок материи и протянула его Чиките.

– А я лучше хочу ожерелье из белых зерен, – сказала девочка, бросив алчный взгляд на бусы. Актриса отстегнула их и надела на шею маленькой воровки. Не помня себя и онемев от восторга, Чикита смуглыми пальчиками щупала белые зерна и нагибала голову, силясь увидеть ожерелье на своей щуплой груди, потом внезапно подняла голову, откинула назад волосы, обратила на Изабеллу сверкающие глаза и с какой-то удивительной убежденностью произнесла:

– Вы добрая – вас я никогда не убью...

Одним прыжком она перемахнула через канаву, взбежала на пригорок, уселась там и стала разглядывать свое сокровище.

Агостен же выразил благодарность поклоном, подобрал свои исковерканные пугала, отнес их в лесок и зарыл там в ожидании лучшего случая. После того как воротился погонщик, доблестно улепетнувший от мушкетного выстрела, предоставив седокам выпутываться как знают, фургон тяжело стронулся с места и покотил дальше.

Дуэнья вытащила дублоны из башмака и вновь украдкой водворила их в кармашек.

– Вы держали себя как герой романа, – сказала Изабелла Сигоньяку. – Под вашей охраной можно путешествовать без страха. Как храбро напали вы на разбойника, считая, что ему на помощь бросится целая шайка, вооруженная до зубов!

– Это ли настоящая опасность? Попусту небольшая встряска! – скромно возразил барон. – Чтобы оберечь вас, я разрубил бы наотмашь от черепа до пояса любого великана, я обратил бы в бегство орду сарацинов, сразился бы в клубах дыма и пламени с дельфинами, гидрами и драконами, пересек бы заколдованные чащи, полные волшебных чар, спустился бы в ад, как Эней, и притом без золотой ветви. Под лучами ваших прекрасных очей все мне было бы легко, ибо ваше присутствие и даже одна лишь мысль о вас вселяют в меня сверхчеловеческую силу.

Его красноречие, хоть и страдало некоторым преувеличением и, как сказал бы Лонгин, азиатской гиперболичностью, однако было вполне искренним. Изабелла не усомнилась ни на миг, что Сигоньяк способен ради нее свершить все эти легендарные подвиги, достойные Амадиса Галльского, Эспландиона и Флоримара Гирканского. И она была права: неподдельное чувство диктовало эти пышные фразы нашему барону, в ком любовь час от часу разгоралась все сильнее. Для влюбленного даже самые громкие слова всегда слишком бледны. Серафина, слушая речи Сигоньяка, не могла сдержать улыбку, ибо всякая молодая женщина склонна находить смешными любовные излияния, обращенные к другой, – будь они адресованы ей, она сочла бы их как нельзя более естественными. Серафине пришла было в голову мысль испытать силу своих чар на Сигоньяке и попытаться отбить его у подруги; однако искушение

длилось недолго. Не будучи по-настоящему корыстной, Серафина полагала, что красота – это бриллиант, которому нужна золотая оправа. Она обладала бриллиантом, но не золотом, барон же был так безнадежно беден, что не мог ей доставить не только оправу, а хотя бы футляр. Решив, что такие романтические прихоти хороши лишь для простушек, а не для героинь, Серафина припрятала кокетливый взгляд, предназначенный сразить Сигоньяка, и вновь приняла равнодушно-безмятежный вид.

В повозке воцарилось молчание, и сон начал смыкать веки путников, когда погонщик объявил:

– А вот и замок Брюйер!

V

У господина маркиза

Под лучами утреннего солнца замок Брюйер представал в особо выигрышном свете. Владения маркиза были расположены по кромке ланд среди тучной земли, и последние белые волны бесплодных песков разбивались о стены парка. В резком противоречии с окружающей скудостью, здесь все дышало изобилием и радовало глаз всякого, кто входил сюда, – это был поистине благодатный остров посреди океана уныния.

Облицованный красивым камнем ров снизу окаймлял ограду замка, не закрывая ее. На дне рва зелеными квадратами переливалась свежая, чистая вода, не замутненная ряской, что свидетельствовало о постоянном уходе. Через ров был переброшен построенный из кирпича и камня мост с парапетом на балясинах, настолько широкий, что по нему могли проехать две кареты. Мост этот приводил к великолепной кованой решетке – настоящему образцу кузнечного искусства, казалось, вышедшему из рук самого Вулкана. Створки ворот были укреплены на двух четырехугольных металлических столбах ажурной работы, выкованных в форме капителей и державших архитрав, над которым красовался замысловатый орнамент в виде куста с листьями и цветами, симметрично ниспадавшими на обе стороны. В центре этих сложных орнаментальных переплетений сверкал герб маркиза, имеющий расположенные в шахматном

порядке червлёные клетки на золотом поле, а по бокам – двух щитодержателей в образе дикарей. По верху решетки плавные волюты, подобные росчеркам каллиграфов на венецовой бумаге, были утыканы железными остролистыми артишоками, предназначенными отпугивать мародеров, которые изловчились бы прыгнуть с моста во внутренний двор через угол решетки. Позолоченные цветы и другие украшения, ненавязчиво вкрапленные в строгую простоту металла, смягчали грозную неприступность кованой ограды и лишь подчеркивали ее пышное изящество. Въезд был, можно сказать, царственный, и, когда лакей в ливрее маркиза распахнул ворота, волю, запряженные в повозку, в нерешительности остановились, словно ослепленные окружающим величием и смущенные своим деревенским видом. Только с помощью остроконечной палки удалось их сдвинуть с места. Честные животные по скромности своей не подозревали, что хлебопашество кормит вельмож.

В самом деле, через такие ворота пристало бы въезжать только золоченым каретам с бархатными сиденьями, с венецианскими стеклами в дверцах или с фартуками из кордовской кожи; но театр пользуется особыми преимуществами, и повозка Феспиды всюду имеет свободный доступ.

Посыпанная песком аллея, одной ширины с мостом, вела к замку, пересекая сад или цветник, разбитый по последней моде. Ровно подстриженная буксовая изгородь делила сад на прямоугольники, где, как разводы на штофном полотнище, в строжайшей симметрии расстилалась зелень растений, – ножницы садовника ни одному листочку не позволяли подняться выше другого, и, как ни сопротивлялась природа, здесь она была превращена в смиренную служанку искусства. Посреди каждого квадрата возвышалась статуя богини или нимфы в мифологически игривой позе на подделанный под Италию фламандский манер. Разноцветный песок служил фоном для этих растительных узоров, которые и на бумаге не получились бы аккуратнее.

На середине сада вторая аллея той же ширины перекрещивалась с первой, но не под прямым углом, а вливаясь в круглую площадку с фонтаном в центре, который представлял собой груды камней, служивших пьедесталом малютке Тритону, а тот дул в раковину, разбрызгивая струйки жидкого хрусталя.

Цветники замыкались рядами коротко подстриженных грабов, которые осень уже успела позолотить. Узнать эти деревья было мудрено, так мастерски их превратили в портик с аркадами, в проемы которых открывались далекие перспективы и виды окружающей природы, как нельзя лучше подобранные для

услалды глазу. Вдоль главной аллеи выделялись своей темной, неизменно зеленой листвоу тисы, подстриженные поочередно пирамидами, шарами и урнами и выстроены в ряд, как слуги для встречи гостей.

Вся эта роскошь несказанно восхитила бедных комедиантов, которые редко бывали званы в такие поместья. Серафина исподтишка разглядывала невиданные чудеса, решая про себя подставить ножку Субретке и не допустить, чтобы внимание маркиза направилось по ложному пути; по ее мнению, на этого Алькандра в первую голову могла претендовать героиня. С каких пор служанка имеет преимущественные права перед госпожой? Субретка, уверенная в своих чарах, которые отрицались женщинами, но безоговорочно были признаны мужчинами, не без основания чувствовала себя здесь чуть ли не хозяйкой; она понимала, что маркиз особо отличил ее, и только ее огненный взор, поразивший его прямо в сердце, пробудил у него внезапный интерес к театру. Изабелла, чуждая всяких честолюбивых устремлений, повернулась к Сигоньяку, который из понятной стыдливости забился в угол фургона, и своей милой легкой улыбкой старалась развеять невольную грусть барона. Она почувствовала, что контраст между богатым замком Брюйер и нищенской усадьбой Сигоньяков глубоко уязвил незадачливого дворянина, волею злой судьбы вынужденного участвовать во всех перипетиях жизни бродячих комедиантов, и, повинувшись жалостливому женскому инстинкту, она ласково пестовала раненое сердце благородного юноши, во всех отношениях достойного лучшей участи.

Тиран ворочал в голове, точно бильярдные шары в мешке, цифру пистолей, которую ему следует запросить в уплату труппе, с каждым оборотом колес добавляя по нулю. Педант-Блазиус своим силеновским языком облизывал губы, иссохшие от неутолимой жажды, и сладострастно представлял себе все те бочки, кадки и чаны тончайших вин, которые должны храниться в погребах замка. Леандр, взбивая черепаховым гребешочком слегка помятые букли парика, с сердечным трепетом гадал, есть ли в этом сказочном замке хозяйка. Вопрос первостатейной важности! Однако высокомерная и заносчивая, хоть и жовиальная физиономия маркиза умеряла вольности, которые он уже мысленно себе позволял.

Перестроенный заново в предшествующее царствование, замок Брюйер занимал задний план почти во всю ширину расположенного перед ним сада и по стилю своему был сродни особнякам на Королевской площади в Париже. Главный корпус здания и два флигеля, примыкавших к нему под прямым углом, образуя парадный двор, создавали весьма стройный ансамбль, величавый, без

монотонности. Красные кирпичные стены, обрамленные по углам тесаным камнем, выгодно оттеняли наличники окон, выточенные из того же прекрасного белого камня. Такими же белокаменными поясами отделялись друг от друга все три этажа здания. Толстошекие, кокетливо убранные скульптурные женские головки весело и благожелательно улыбались с надоконных клинчатых камней. Балконы держались на пузатых опорах. В прозрачные стекла сквозь отраженный блеск солнечных лучей смутно виднелись богатые ткани драпировок с пышными подборками. Чтобы перебить однообразие фасада, архитектор – достойный ученик Андруэ дю Серсо, – поставил в центре выступающий портик, украсив его щедрее всего здания и поместив там входные двери, к которым вело высокое крыльцо. На полотнах господина Петера Пауля Рубенса, излюбленного мастера королевы Марии Медичи, часто видишь рустованные колонны, – такие четыре сдвоенные колонны с чередующимися круглыми и квадратными основаниями поддерживали карниз, как и решетка, увенчанная гербом маркиза и служивший полом для обнесенного каменной балюстрадой большого балкона, куда открывалась застекленная дверь гостиной. Лепные рельефы с пазами украшали каменную раму и арку двустворчатой дубовой полированной двери с редкостной резьбой и блестящим, как сталь или серебро, железным прибором.

Высокие шиферные кровли, искусно разделанные под черепицу, обрисовывались в ясном небе приятными правильными очертаниями, между которыми симметрично возвышались массивные трубы, украшенные с каждого бока скульптурными трофеями и другими атрибутами. Огромные пучки орнаментальных листьев, отлитых из свинца, красовались по углам этих голубовато-сизых кровель, на которых весело играло солнце. Хотя час был ранний, а по времени года не требовалось постоянного отопления, из труб вился легкий дымок – признак счастливой, изобильной и деятельной жизни. В этой Телемской обители кухни уже проснулись; егеря скакали на крепких конях, везя дичь для стола; арендаторы несли провизию и сдавали кухмистерам. Лакеи сновали по двору, передавая или выполняя приказания.

Наружный вид замка радовал глаз окраской обновленных кирпичных и каменных стен, напоминая здоровый румянец на цветущем лице. Все здесь говорило о прочном, постоянно растущем благосостоянии, а не о капризе Фортуны, которая, невозмутимо катясь на золотом колесе, щедро одаривает своих минутных любимцев. Здесь же под новой роскошью чувствовалось давнее богатство.

Немного отступя от замка, позади флигелей, поднимались вековые деревья, верхушки их были уже тронуты желтизной, меж тем как нижние ветки

сохраняли сочную листву. Отсюда вдаль тянулся парк, обширный, тенистый, густой, величественный, свидетельствующий о рачительности и богатстве предков. С помощью золота можно быстро возвести здание, но нельзя ускорить рост деревьев, где ветвь прибавляется к ветви, как на генеалогическом древе тех домов, которые они осеняют и защищают своей тенью.

Конечно, благородное сердце Сигоньяка никогда не испытывало ядовитых укусов зависти – этой зеленой отравы, которая вскоре проникает в кровь, с ее током просачивается в мельчайшие волокна и растлевет самые стойкие души. Тем не менее он не мог подавить горький вздох при мысли о том, что некогда Сигоньяки превосходили Брюйеров древностью рода, известного со времен первых крестоносцев. Этот замок, обновленный, свежий, нарядный, белый и румяный, как щеки юной девушки, наделенный всеми ухищрениями роскоши, невольно казался жестокой издевкой над убогим, облупленным, обветшалым жилищем, пришедшим в полный упадок посреди безмолвия и забвения, гнездом крыс, насестом сов, пристанищем пауков, которое обрушилось бы на своего злополучного владельца, если бы он вовремя не спасся бегством, чтобы не погибнуть под развалинами. Долгие годы тоски и нищеты, прожитые там, вереницей прошли перед Сигоньяком в одеждах цвета пыли, свесив руки в безысходном отчаянии, посыпав головы пеплом и скривив рты зевотой. Не завидуя маркизу, он все же почитал его счастливецом.

Повозка остановилась у крыльца и тем отвлекла Сигоньяка от его безотрадных дум. Он постарался стряхнуть с себя неуместную печаль, мужественным усилием воли сдержал наворачившуюся слезу и непринужденно спрыгнул на землю, чтобы помочь сойти Изабелле и другим актрисам, – им мешали юбки, которые раздувал утренний ветерок.

Маркиз де Брюйер, издали завидевший колымагу комедиантов, стоял на крыльце замка в камзоле и панталонах песочного бархата, со вкусом отделанных лентами в тон, в серых шелковых чулках и белых тупоносых башмаках. Он спустился на несколько ступенек подковообразной лестницы, как подобает учтивому хозяину, который закрывает глаза на общественное положение гостей; кстати, и присутствие в труппе барона де Сигоньяка до известной степени оправдывало такую предупредительность. На третьей ступеньке маркиз остановился, считая ниже своего достоинства идти дальше, и отсюда сделал комедиантам по-дружески покровительственный знак рукой.

В этот миг сквозь отверстие в парусине выглянула лукавая и задорная мордочка Субретки, вся сверкая на темном фоне жизнью и огнем. Глаза и зубы метали молнии. Высунувшись из повозки, опираясь руками о перекладину и показывая полуприкрытую косынкой грудь, плутовка словно ждала, чтобы кто-нибудь ей помог. Занятый Изабеллой, Сигоньяк не заметил ее мнимого замешательства, и негодница обратила томный и молящий взгляд на маркиза.

Владелец замка внял ее зову. Сбежав с последних ступеней, он приблизился к повозке, чтобы выполнить обязанность услужливого кавалера, протянул руку и по-танцевальному выставил ногу. Кокетливым кошачьим движением Субретка скользнула к самому краю повозки, остановилась на миг, сделала вид, будто теряет равновесие, обхватила шею маркиза и, как перышко, спрыгнула на землю, оставив на песке едва заметный след своих птичьих лапок.

– Простите меня, – пролепетала она, изображая смущение, которого ни в малейшей мере не испытывала, – я чуть не упала и схватилась за раструб вашего воротника; когда тонешь или падаешь – цепляешься за что попало. А падение дело нешуточное и плохое предзнаменование для актрисы.

– Разрешите мне считать этот случай особой для себя удачей, – ответил хозяин замка Брюйер, взволнованный прикосновением соблазнительно трепетавшей женской груди.

Серафина, скосив глаза и пригнув голову к плечу, наблюдала происходившую у нее за спиной сцену и при этом не упустила ничего с той ревнивой зоркостью, которая стоит всех ста глаз Аргуса. Зербина (так звали Субретку) этим фамильярным маневром обеспечила себе внимание маркиза и, можно сказать, завоевала права на замок в ущерб героиням и актрисам на первые роли, – беспардонная наглость, ниспровергающая театральную иерархию. «Вот дрянная цыганка! Ей, видите ли, нужны маркизы, без них она не вылезет из повозки!» – выбранилась про себя Серафина, прибегнув к оборотам, мало соответствующим изысканной и жеманной манере, которой придерживалась обычно; однако в пылу досады женщины, будь то герцогини или примадонны, часто черпают выражения на рынке или среди черни.

– Жан, – обратился маркиз к лакею, который приблизился по его знаку, – распорядитесь, чтобы повозку поставили в каретный сарай, а декорации и прочие театральные принадлежности вынули из нее и сложили где-нибудь под навесом; скажите, чтобы сундуки приезжих господ и дам отнесли в комнаты,

которые отвел им дворецкий. Я желаю, чтобы они ни в чем не терпели недостатка и чтобы обращение с ними было самое почтительное и учтивое. Ступайте!

Отдав распоряжения, владелец замка важной поступью взошел на крыльцо, не преминув, прежде чем скрыться за дверью, бросить игривый взгляд Зербине, которая улыбалась не в меру завлекающе, по мнению донны Серафины, возмущенной бесстыдством Субретки.

Тиран, Педант и Скапен проводили запряженную волами повозку на задний двор и с помощью слуг извлекли из ее недр три скатанных полотнища старого холста, заключавших в себе городскую площадь, дворец и лес; еще из кузова достали канделябры античного образца для алтаря Гименея, чашу из позолоченного дерева, складной кинжал из жести, моток красных ниток, долженствующий изображать кровоточащую рану, пузырек с ядом, урну для праха и другой реквизит, необходимый при развязках трагедий.

В повозке странствующих актеров заключен целый мир. А что такое, по существу, театр, как не жизнь в миниатюре, не тот микрокосм, который ищут философы, замкнувшись в своих отвлеченных мечтаниях? Разве не объемлет театр всю совокупность явлений и судеб человеческих, живо отображенных в зеркале вымысла? Все эти груды засаленных, пропыленных отрепьев с позументом из поддельного порыжевшего золота, эти рыцарские ордена из мишуры и фальшивых камней, подделанные под античность мечи в медных ножнах, с затупленными железными клинками, шлемы и короны эллинской или римской формы – что это все, как не обноски человечества, в которые облачаются герои былых времен, чтобы ожить на миг при свете рампы? Бескрылому, убогому умишку мещанина ничего не говорят эти нищенские богатства, эти жалкие сокровища, которыми, однако, довольствуется поэт, облакая в них свою фантазию; ему достаточно их, чтобы в сочетании с магией огня и волшебством языка богов чаровать самых требовательных зрителей.

Слуги маркиза де Брюйера, по-господски надменные, как все лакеи из хорошего дома, брезгливо, с презрительной миной прикасаясь к этому театральному хламу, помогли перенести его под навес, где разложили по указаниям Тирана, режиссера труппы; они считали для себя унижительным услужать комедиантам, но, раз маркиз приказал, приходилось повиноваться, – он не терпел ослушания и был по-азиатски щедр на плети.

Явился дворецкий и, держа берет в руке, с таким почтительным видом, будто обращался к настоящим королям и принцессам, вызвался проводить актеров в приготовленные для них покои. В левом флигеле замка были расположены апартаменты и отдельные комнаты, предназначенные для гостей. Туда вели роскошные лестницы со ступенями из белого полированного камня и с удобно устроенными площадками. Далее шли длинные коридоры, вымощенные белыми и черными плитками, освещенные окнами с каждого конца; по обе стороны открывались двери комнат, называвшихся по цвету обивки, которому соответствовал и цвет наружной портьеры, чтобы каждому гостю легко было найти свое помещение. Там имелись желтая, красная, зеленая, голубая, серая, коричневая комнаты, комната с гобеленами, комната, обитая тисненой кожей, комната с панелями, комната с фресками и еще комнаты, под другими подобными же названиями, которые вам предоставляется выдумывать самим, потому что дальнейшее перечисление показалось бы слишком скучным и приличествовало бы скорее обойщику, нежели писателю.

Все эти покои были обставлены не только добротнo и удобно, но даже изысканно. Субретке-Зербине досталась комната с гобеленами, которой придавали пикантность сладострастные любовные сцены из мифологии, вытканые на шпалерах; для Изабеллы была выбрана голубая комната, так как голубой цвет к лицу блондинкам; красную получила Серафина, а Дуэнья – коричневую, потому что этот хмурый тон под стать такой старушенции. Сигоньяка поместили в комнате, обитой тисненой кожей, недалеко от Изабеллы, – тонкое внимание со стороны маркиза. Эта комната, обставленная почти что роскошно, предназначалась для именитых гостей, и маркиз де Брюйер хотел особо выделить из среды комедиантов человека благородного происхождения, отдавая ему должное и вместе с тем уважая тайну его имени. Прочие актеры – Тиран, Педант, Скапен, Матамор и Леандр – тоже получили по комнате.

Войдя в отведенное ему жилище, куда уже был принесен его тощий багаж, и раздумывая о странности своего положения, Сигоньяк изумленным взором оглядывал пышный покой, какого не видал сроду и где ему предстояло прожить все время пребывания в замке. Как и указывало название комнаты, стены были обиты богемской кожей с вытисненными по лакированному золотому полю фантастическими узорами и причудливыми цветами, чьи венчики, стебли и листья были расцвечены отливающими металлом красками и сверкали, как фольга. Эти богатые и блистающие чистотой обои покрывали стены от карниза до панели черного дуба, расчлененной искусной резьбой на прямоугольники, ромбы и шахматные квадратики.

Оконные занавеси были из желтого с красным штофа, в тон обоям и преобладающей окраске разводов. Таким же штофом была убрана кровать, изголовье которой опиралось на стену, остальная же часть выдавалась в комнату, оставляя проходы с обеих сторон. Портьеры и обивка на мебели соответствовали остальному по ткани и расцветке.

Стулья с прямоугольными спинками и витыми ножками, обитые по краю бахромой на золоченых гвоздях, кресла, радушно простирающие выстланные волосом локотники, стояли вдоль панелей в ожидании гостей, а другие, сдвинутые полукругом у камина, манили к задушевной беседе. Сам же камин, высокий, большого объема и глубины, был из серанколенского мрамора, белого с розоватыми пятнами. Яркий огонь, приятный в такое свежее утро, очень кстати пылал в нем, освещая своими веселыми отблесками доску с гербом маркиза де Брюйера. Стоявшие на камине небольшие часы изображали беседку с куполом-колокольчиком, с черненым серебряным циферблатом, имевшим отверстие посередине, в которое был виден весь сложный внутренний механизм.

Середину комнаты занимал стол, тоже на витых ножках, покрытый турецкой ковровой скатертью. Поставленный перед окном туалет склонял свое венецианское, ограненное по краям зеркало над гипюровой салфеткой, уставленной изысканным арсеналом кокетства.

Поглядевшись в это прозрачное зеркало, обрамленное затейливой черепаховой с оловом оправой, бедняга Сигоньяк был до крайности уязвлен своим собственным плачевным видом. Великолепие комнаты, блестящие новизной предметы обстановки только подчеркивали смехотворное убожество его одежды, вышедшей из моды еще до того, как был убит отец ныне царствующего монарха. Хотя барон был один, легкая краска проступила на его впалых щеках. Прежде он считал свою бедность достойной сожаления, теперь же она показалась ему смешной, и он впервые устыдился ее. Стыдиться бедности недостойно философа, но извинительно для молодого человека.

Желая хоть немного принарядиться, Сигоньяк развязал узел, в который Пьер сложил его жалкое имущество. Рассматривая различные части одежды, он не признал годной ни одну из них. Камзол был слишком длинен, а панталоны слишком коротки. На локтях и коленях ткань пузырилась и была протерта до основы. Разошедшиеся швы скалили свои нитяные зубы. Штопаные и перештопанные места закрывали дыры не менее сложными переплетами, чем в

тюремных окошечках или испанских воротах. Все эти отрепья до того вылиняли от солнца, воздуха и дождя, что художнику мудрено было бы определить их цвет. Белье тоже оказалось не лучше. От частой стирки оно истончилось до предела. Рубашки стали походить на тени настоящих рубашек. Казалось, они выкроены из паутины, которой изобиловал замок. В довершение всех бед крысы, не находя пропитания в кладовой, изгрызли самые приличные из них, с помощью зубов сделав их ажурными наподобие гипюрового воротника, – излишнее украшение, без которого мог обойтись гардероб бедного барона.

Удрученный результатами невеселого обследования, Сигоньяк не услышал осторожного стука в дверь, которая приотворилась, и в нее просунулась сперва багровая физиономия, а затем и грузная фигура господина Блазиуса, проникшего в комнату с бесчисленными, не в меру низкими поклонами, то ли подобострастно комическими, то ли комически подобострастными, выражавшими наполовину искреннее, наполовину притворное почтение.

Когда Педант приблизился к Сигоньяку, тот держал за оба рукава и, с унылой безнадежностью качая головой, разглядывал на свет рубаху, не менее ажурную, чем соборная роза.

– Клянусь Богом, у этой рубахи гордый и победоносный вид! – возгласил Педант, а барон вздрогнул от неожиданности. – Не иначе как она облекала грудь самого бога Марса во время осады неприступной твердыни, столько в ней дыр, прорех и других славных отметин, оставленных пулями, дротиками, копьями, стрелами и прочими метательными снарядами. Не следует стыдиться их, барон: эти дыры – уста, которыми глаголет доблесть, а под новехоньким, наплоенным по последней придворной моде фризским или голландским полотном зачастую скрывается вся подлость ничтожного выскочки, казнокрада и хриstopродавца; многие знаменитые герои, деяния которых сохранены историей, не имели больших запасов белья, примером чему служит Улисс, человек себе на уме, степенный и благоразумный, который предстал перед столь прекрасной царевной Навзикаей, прикрытый лишь пучком водорослей, как то явствует из «Одиссеи» господина Гомеруса.

– К сожалению, милый мой Блазиус, сходство между мной и этим славным греком, царем Итаки, ограничивается отсутствием рубах, – возразил Сигоньяк. – В прошлом у меня нет подвигов, которые искупали бы нынешнее мое убожество. Мне еще ни разу не представилось случая проявить отвагу, и я сильно сомневаюсь, чтобы поэты когда-нибудь стали воспевать меня гекзаметром. Хотя

и не следует стыдиться честной бедности, признаюсь, однако, что мне весьма неприятно предстать перед здешним обществом в таком наряде. Маркиз де Брюйер, конечно, узнал меня, хотя не подал виду, и может выдать мой секрет.

– Это и вправду крайне досадно, – согласился Педант, – но, как говорит пословица – лекарства нет только от смерти. Мы, бедные актеры, подобия человеческих жизней, тени людей любых сословий, лишены права быть, зато можем казаться: второе относится к первому, как отражение предмета – к самому предмету. Стоит нам пожелать, и при помощи нашего гардероба, где заключены все наши королевства, наследственные и прочие владения, мы принимаем горделивое обличье государей, вельмож и придворных кавалеров. На несколько часов мы блеском наряда уподобляемся самым чванливым из них; щеголи и франты подражают нашему бутафорскому изяществу, из поддельного превращая его в настоящее, заменяя коленкор тонким сукном, мишуру – золотом, стекло – алмазом, ибо театр – это школа нравов и академия моды. Будучи костюмером труппы, я могу обратить слизняка в завоевателя, обездоленного бедняка в богатого вельможу, потаскушку в знатную даму. И если вы не будете возражать, я применю к вам свое искусство. Если уж вы решили разделить нашу кочевую долю, не погнушайтесь воспользоваться и нашими преимуществами. Скиньте печальные одежды нищеты, которые скрывают ваши природные достоинства и внушают вам незаслуженное недоверие к себе. У меня как раз есть в запасе почти новый костюм из черного бархата с оранжевыми лентами, который нисколько не отдает театром и не посрамит даже придворного кавалера, – ведь сейчас у многих писателей и поэтов вошло в обычай выводить своих современников под вымышленными именами, а потому и одевать их надо, как приличествует добропорядочным людям, а не фиглярам, переряженным на античный или фантастический лад. К этому у меня найдется и манишка, и шелковые чулки, и башмаки с помпонами, и плащ, – словом, все принадлежности наряда, скроенного прямо по вашей мерке, как будто в предвидении такого случая. Там имеется все, даже шпага.

– Ну, в ней-то нет нужды, – возразил Сигоньяк с высокомерным жестом, обнаружившим всю гордость дворянина, которую не могут сломить никакие невзгоды. – При мне всегда отцовская шпага.

– Берегите ее свято, – ответил Блазиус. – Шпага – верный друг и хранительница жизни и чести своего владельца. Она не покидает его перед лицом бедствий, опасностей и недобрых встреч, не в пример льстецам, этим подлым прихвостням благосостояния. У наших бутафорских мечей клинок и острие не отточены, ибо

они должны наносить только мнимые раны, которые заживают сразу же к окончанию пьесы без корпии, безо всяких мазей и целительных снадобий. А ваша шпага защитит вас в нужную минуту, как защитила уже однажды, когда разбойник с большой дороги во главе своих огородных пугал совершил на нас отчаянное и смехотворное нападение. Теперь, если позволите, я пойду за вашим нарядом, скрытым на дне баула; мне не терпится узреть, как куколка превратится в мотылька.

Выговорив эти слова с комической высокопарностью, усвоенной на сцене и перенесенной в обычную жизнь, Педант вышел из комнаты и вскоре вернулся, держа в руках довольно объемистый, завернутый в простынку узел, который бережно положил на стол.

– Если вы соблаговолите принять от старого комедийного педанта услуги камердинера, я наряжу и завью вас на славу, – предложил Блазиус, с довольным видом потирая руки. – Все дамы не замедлят воспылать к вам страстью, ибо, будь сказано не в обиду повару замка Сигоньяк, от долгого поста в вашей «Башне Голода» вы приобрели вид страдальца, не на шутку умирающего от любви. Женщины же верят только в тощую страсть. Толстобрюхие воздыхатели не могут их убедить, хотя бы то были краснобаи, способные золотой цепью приковать к своим устам вельмож, горожан и простолюдинов, по примеру Огмия, галльского Геркулеса. Только по этой причине и не по какой другой я не очень-то преуспел у прекрасного пола и с юных лет пристрастился к божественной бутылке, благо она не набивает себе цену и отдает предпочтение толстякам по причине их большей вместительности.

Такими речами добряк Блазиус старался развеселить барона де Сигоньяка, ибо живость языка не мешала проворству его рук; даже рискуя прослыть докучливым болтуном, он считал, что лучше оглушить молодого человека потоком слов, нежели отдать его во власть тягостным думам.

Туалет барона был вскоре закончен, потому что театр требует быстрых переодеваний и вырабатывает у актеров большую сноровку в такого рода метаморфозах. Довольный результатами своих стараний, Блазиус за кончик пальца, как невесту к алтарю, подвел барона де Сигоньяка к венецианскому зеркалу, стоявшему на столе, и сказал:

– А теперь благоволите взглянуть на вашу милость.

Сигоньяку сперва показалось, что он видит в зеркале чье-то чужое отражение, настолько оно было не похоже на его собственное. Он невольно обернулся и посмотрел через плечо, не стоит ли кто-нибудь случайно позади него. Зеркало отразило его движение. И так, это, несомненно, был он, Сигоньяк, но не прежний – тощий, грустный, жалкий, почти смешной в своем убожестве, а молодой, изящный, горделивый, чья старая одежда, скинутая на пол, напоминала ту серую тусклую оболочку, которую сбрасывает куколка, когда взлетает к солнцу златокудрым мотыльком, отливающим киноварью и лазурью. Неведомое существо, заключенное в скорлупу нищеты, внезапно вырвалось из плена и под яркими солнечными лучами, падавшими в окно, засияло наподобие статуи, с которой, торжественно открывая ее, сдернули покрывало. Сигоньяк предстал перед собой таким, каким порой воображал себя в мечтах, когда бывал одновременно героем и свидетелем необычайных событий, происходящих в замке, который искусные зодчие его грез успели обновить и разукрасить к приезду возлюбленной принцессы на белом иноходце. Победоносная улыбка алым заревом мелькнула на его бледных губах, и юность, издавна погребенная под бременем невзгод, проглянула в похорошевших чертах его лица.

Стоя возле туалета, Блазиус любовался своим произведением, отступая на шаг, как живописец, положивший последний мазок на полотно, которым он доволен.

– Если, как я надеюсь, вы преуспеете при дворе и вернете себе прежние богатства, не откажите принять меня, к тому времени отставного актера, на должность заведующего вашим гардеробом, – сказал он, подражая смиренному просителю, и поклонился преображенному Сигоньяку.

– Я приму во внимание вашу просьбу, – грустно улыбнулся Сигоньяк. – Вы, господин Блазиус, – первый человек, о чем-то попросивший меня.

– После обеда, который будет нам подан отдельно, мы отправимся к господину маркизу де Брюйеру, чтобы предложить ему список пьес, входящих в наш репертуар, и узнать от него, какое помещение отведено в замке под театр. Вы сойдете за поэта нашей труппы, – ведь в провинции встречается немало просвещенных людей, которые сопровождают колесницу Талии в надежде тронуть сердце какой-нибудь актрисы, что почитается весьма благородным и галантным поступком. Изабелла может служить прекрасным предлогом, тем более что она умна, хороша собой и добродетельна. Простушки зачастую гораздо более искренни в своих ролях, чем полагает развращенная и кичливая публика.

На этом Педант удалился, чтобы заняться собственным туалетом, хотя и не отличался щегольством.

Красавчик Леандр, не переставая мечтать о хозяйке замка, расфрантился, как мог, в надежде на несбыточное любовное приключение, которого неустанно домогался, но, по словам Скапена, ничего не получал, кроме разочарования и колотушек. Актрисам господин де Брюйер учтиво прислал несколько штук шелковых тканей, чтобы на всякий случай пополнить их театральный гардероб, и они, как легко себе представить, прибегли ко всем ухищрениям, какими пользуется искусство, дабы усовершенствовать природу, стремясь явиться во всеоружии, насколько позволяли им убогие наряды странствующих комедианток. Принарядившись, все отправились в залу, где был подан обед.

Маркиз, нетерпеливый по натуре, явился к актерам до того, как они встали из-за стола; он не допустил, чтобы они прерывали трапезу, и лишь после того, как им подали воду ополоснуть руки, спросил у Тирана, какие пьесы они играют.

– У нас в репертуаре все пьесы покойного Арди, – замогильным басом ответил Тиран, – «Пирам» Теофиля, «Сильвия», «Кризеида» и «Сильванир», «Безумство Карденио», «Неверная наперсница», «Филида из Скироса», «Лигдамон», «Наказанный обманщик», «Вдовица», «Перстень забвения» и все лучшее, что создано первейшими поэтами нашего времени.

– Я уже несколько лет живу вдалеке от двора и незнаком с последними новинками, – скромно заметил маркиз, – мне трудно вынести суждение о таком количестве первоклассных пьес, из коих большинство мне неизвестно; на мой взгляд, вернее всего будет вам самим, руководствуясь теорией и практикой, сделать выбор, который не преминет быть разумным.

– Нам часто приходилось играть пьесу, которая, пожалуй, не имела бы успеха в чтении, – ответил Тиран, – однако сценическими эффектами, остротой диалога, потасовками и шутовскими проделками она всегда вызывала смех у самых почтенных людей.

– Лучшего и незачем искать, – решил маркиз. – Поистине счастливая находка. А как называется это образцовое произведение?

– «Бахвальство капитана Матамора».

– Клянусь честью, превосходное наименование! А у Субретки там хорошая роль? – спросил маркиз, подмигнув Зербине.

– Самая забавная и самая задорная на свете, и Зербина справляется с ней превосходно. Это ее коронная роль. Она неизменно срывает рукоплескания безо всяких наемных хлопальщиков.

В ответ на директорскую похвалу Зербина сочла уместным покраснеть, но ей не без труда удалось вызвать краску смущения на свои смуглые щеки. Скромность – эти румяна души, отсутствовала у нее совершенно. Среди баночек с притираниями такого крема не водилось на ее туалетном столе. Она потупила глаза, отчего стала заметна длина ее черных ресниц, и, как бы стараясь жестом остановить поток не в меру лестных слов, подняла на свет изящную, хоть и смугловатую руку с отставленным мизинчиком и розовыми ноготками, блестящими, как рубин, – недаром их полировали коралловым порошком и замшей.

В таком виде Зербина была очаровательна. Притворная стыдливость служит прямой приправой к изощренной распущенности; не обманываясь на этот счет, сластолюбец смакует всю пикантность лицемерной игры. Маркиз смотрел на Субретку пылким взглядом знатока, проявляя к остальным женщинам рассеянную учтивость благовоспитанного мужчины, чей выбор уже сделан.

«Он даже не осведомился, что за роль у героини! – думала в сердцах Серафина. – Какое неприличие! Этот вельможа и богач вопиюще обездолен по части ума, воспитания и вкуса. Наклонности у него самые низменные. Пребывание в провинции повредило ему, а привычка волочиться за стряпухами и пастушками окончательно испортила его манеры».

Эти размышления никак не украсили Серафины. Ее правильные, но суховатые черты становились привлекательными, когда их смягчало искусное жеманство улыбок и прищуренных глаз, а гримаса раздражения лишь подчеркивала их неприятную резкость. Она была, бесспорно, красивее Зербины, но в красоте ее чувствовалось что-то надменное, заносчивое, злобное. Это, быть может, не остановило бы любовь, которая не побоялась бы пойти на приступ. Зато легкокрылую прихоть спугнуло бы мгновенно.

И маркиз удалился, не сделав попытки поухаживать ни за донной Серафиной, ни за Изабеллой, на которую, кстати, как он считал, пал выбор Сигоньяка. Напоследок он сказал Тирану:

– Я отдал распоряжение очистить для театра оранжерею – самую просторную залу в замке; туда уже, верно, принесли доски и козлы для подмостков, драпировки, скамьи – словом, все необходимое для импровизированного представления. Мои слуги неопытны в таких делах; распоряжайтесь ими, как староста на галере – командой каторжников. Они будут повиноваться вам, как мне самому.

Слуга проводил Тирана, Блазиуса и Скапена в оранжерею. На них обычно лежали заботы об устройстве сцены. Зала как нельзя лучше подходила для театрального представления – ее продолговатая форма позволяла устроить сцену на одном конце, а на свободном пространстве рядами поставить кресла, стулья, табуретки и скамьи, соответственно рангу зрителей и уважению, которое следовало им оказать. Стены залы были разделаны под зеленый трельяж на голубом фоне, где изображены были постройки в сельском вкусе, с колоннами, аркадами, нишами, куполами, – во всем была соблюдена строгая перспектива, а однообразие ромбов и прямых линий смягчалось разбросанными кое-где гирляндами листьев и цветов. Полуциркульный потолок, в подражание небосводу, был усеян белыми пятнами облаков и пестрыми закорючками, изображавшими птиц; такое убранство как нельзя более соответствовало новому назначению залы.

С одного конца были настланы на козлах чуть наклонные подмости. По обе стороны сцены выросли деревянные опоры для кулис, а ковровые портьеры, долженствующие играть роль занавеса, были натянуты на веревки и раздвигались, собираясь слева и справа в виде драпировки, окаймляющей авансцену. Полоска материи, как на пологе, вырезанная по краю зубцами, заменяла фриз и завершала обрамление сцены.

Пока актеры хлопочут над устройством театра, займемся обитателями замка, о которых не мешает сообщить некоторые сведения. Мы забыли сказать, что маркиз де Брюйер был женат, – он сам настолько редко вспоминал об этом, что нам можно простить такую оплошность. Всякому понятно, что любовь не участвовала в заключении этого союза. Основанием его послужила одинаковая древность рода и соседство земельных угодий. После краткого медового месяца, не чувствуя взаимного влечения, маркиз и маркиза, как и подобает людям

благовоспитанным, не стали по-мещански добиваться незадавшегося семейного счастья. По взаимному уговору они поставили на нем крест и жили вместе, но на разных половинах, в добром согласии, оказывая друг другу всяческое уважение и пользуясь всей той свободой, какую допускали приличия. Не подумайте на основании вышесказанного, что маркиза де Брюйер была женщиной некрасивой или малопривлекательной. Что отталкивает мужа, может стать лакомым куском для любовника. Любовь носит на глазах повязку, а брак – нет. Впрочем, мы сейчас представим вас маркизе, чтобы вы сами могли составить о ней суждение.

Маркиза занимала отдельные покои, куда маркиз не являлся без доклада. Мы совершим эту нескромность, в которой повинны писатели всех времен, и, не сказавшись пажу, обязанному предупредить камеристку, проникнем в спальню, зная, что не потревожим никого. Сочинитель романов непременно носит на пальце перстень Гигеса, который делает его невидимкой.

Это была обширная, богато разукрашенная комната с высоким потолком. Стены ее были обиты фландрскими шпалерами теплых, сочных и мягких тонов, изображавшими похождения Аполлона. Пунцовые драпировки индийского узорчатого штофа пышными сборками ниспадали вдоль окон, и когда веселый солнечный луч пронизывал их, они светились пурпуром рубина. Кровать была убрана тем же штофом, полотнища которого были соединены позументом, образуя ровные переливчатые складки. Как полагается на балдахинах, по краю его шел ламбрекен, украшенный на всех четырех углах пышным султаном ярко-розовых перьев. Корпус камина был выдвинут вперед и, не уходя в стену, возвышался до самого потолка. Большое венецианское зеркало в хрустальной раме, грани и ребра которой искрились многоцветными огоньками, выступало из лепки камина с наклоном к комнате, навстречу тому, кто отражался в нем. На прутьях каминной решетки, как бы выдутых чьим-то мощным, но перехваченным дыханием, под огромным колпаком полированного металла, потрескивая, пылали три полена, вполне пригодные для рождественского огня. Исходивший от них жар был весьма кстати в такое время года для комнаты таких размеров.

По обе стороны туалета стояли два секретера редкостной работы, инкрустированные твердыми породами камня, с колоннами из ляпис-лазури, с потайными ящичками, куда маркиз не вздумал бы сунуть нос, даже знай он, как они открываются; а за туалетом сидела госпожа де Брюйер в типичном для эпохи Людовика XIII кресле с мягкой спинкой на уровне плеч, обитой бахромой.

Две горничные, стоя позади маркизы, прислуживали ей: одна протягивала подушечку с булавками, другая – коробочку с мушками.

Хотя, по словам маркизы, ей было всего двадцать восемь лет, она явно перешагнула за тридцать, за тот рубеж, которого так наивно страшатся женщины, считая его не менее грозным, чем опытные мореплаватели – мыс Бурь. Давно ли? Этого не знала даже и сама маркиза, такую путаницу внесла она во все даты. Опытнейшие историки, мастера по части хронологии, только поседели бы, стараясь навести тут порядок.

Маркиза была смуглая брюнетка, но от полноты, явившейся с годами, кожа ее побелела; присущий прежней ее худобе оливковый цвет лица, против которого она пускала в ход жемчужные белила и тальковую пудру, сменился матовой белизной, несколько болезненной при дневном свете, но ослепительной при свечах. Лицо ее расплылось и щеки обвисли, однако овал не утратил благородных очертаний. Пухленький второй подбородок довольно грациозной линией переходил в шею. Несмотря на слишком резкую для женской красоты горбинку, нос имел горделивую форму, а над выпуклыми карими глазами крутым полукругом вздымались брови, придавая глазам удивленное выражение.

Искусные руки куаферши только что кончили укладывать в прическу ее густые черные волосы, – дело нелегкое, судя по количеству папильоток из пропускной бумаги, устилавших ковер вокруг туалетного стола. Челка из буколек в виде запятых окаймляла лоб и курчавилась у корней пышных волос, зачесанных валиком, меж тем как две воздушных пряди, взбитых быстрыми отрывистыми движениями гребня, вились вдоль щек, служа им изящной рамкой. Кокарда из лент, обшитых стеклярусом, венчала тяжелый узел, стянутый на затылке. Волосы были главным украшением маркизы, из них можно было делать любые прически, не прибегая к накладным локонам и парикам, недаром их обладательница охотно допускала дам и кавалеров присутствовать при том, как горничные наряжают ее.

С полной округлой шеи взгляд спускался к белоснежным пышным плечам, которые приоткрывал вырез корсажа и где виднелись две соблазнительные ямочки. Тесный корсет, приподымая грудь, сближал те два полушария, что у льстецов-стихотворцев, сочинителей сонетов и мадригалов, упорно именуются враждующими братьями, хотя на самом деле они нередко мирятся друг с другом, не будучи столь свирепыми, как братья из «Фиваиды».

Шею маркизы окружал черный шелковый шнурок, продернутый в рубиновое сердечко, на котором висел бриллиантовый крестик, как бы заклинающая языческую чувственность, пробуждаемую видом выставленных напоказ прелестей, и закрывая нечестивым желанием доступ к груди, столь слабо защищенной кружевным укрытием.

Поверх белой атласной юбки на госпоже де Брюйер было гранатовое шелковое платье, подхваченное черными бантами и стеклярусными пряжками, с манжетами, или откидными раструбами, как на рыцарских перчатках.

Жанна, одна из горничных маркизы, поднесла ей коробочку с мушками, – это был последний штрих, без которого туалет модницы того времени не мог считаться законченным. Госпожа де Брюйер прилепила одну мушку над уголком рта и долго искала места для другой, той, что зовется «злодейкой», потому что она сражает самых отважных кавалеров, безоружных перед ней.

Горничные, понимая всю важность происходящего, замерли на месте, затаив дыхание, лишь бы не вспугнуть кокетливое раздумье своей госпожи. Наконец застывший в нерешительности палец направился к цели, и крохотная точка, черная звездочка на сверкающих белизной небесах, точно родинка, села у начала левой груди. На языке любовных символов это значило, что путь к устам ведет через сердце.

Довольная собой, маркиза бросила последний взгляд в венецианское зеркало, склоненное над туалетным столом, встала и прошлась по комнате, но, спохватившись, что ей чего-то недостает, вернулась, достала из ларчика круглые часы, нюрнбергское яйцо, как говорили тогда, с тонким рисунком из разноцветной эмали и с алмазной осыпью, висевшее на цепочке с крючком, который она прицепила к поясу рядом с ручным зеркальцем в позолоченной оправе.

– Ваше сиятельство сегодня в авантаже: и прическа и платье вам как нельзя больше к лицу, – вкрадчиво сказала Жанна.

– Ты находишь? – небрежным тоном рассеянно протянула маркиза. – А мне, наоборот, кажется, что я сегодня страшна, как смертный грех. Глаза запавшие, а цвет платья толстит меня. Не лучше ли надеть черное? Как по-твоему, Жанна? В черном кажешься тоньше.

– Если вашему сиятельству угодно, я надену на вас тафтяное платье пюсового или прюнового цвета. Это дело минутное; только боюсь, как бы ваше сиятельство не испортили этим весь наряд.

– Ты, Жанна, будешь виновата, если я обращу в бегство купидона и не соберу за сегодняшний вечер достаточной жатвы сердец. Много народу пригласил маркиз на представление?

– Верховые отправлены в разные стороны. Соберется, конечно, многочисленное общество: гости съедутся из всех окрестных замков. Случаи развлечься до того уж редки в наших краях!

– Да, в этом ты права, – вздохнула маркиза, – ужас как тут скудно на предмет увеселений! А комедиантов ты видела, Жанна? Есть среди них молодые, приятной наружности и благородной осанки?

– Не знаю, что и ответить вашему сиятельству. От румян, белил и париков лица у этих людей похожи на маски. Они очень выигрывают при свечах против того, каковы они на самом деле. Все же мне показалось, что один из них и видом и манерами вполне презентабелен – у него красивые зубы и стройные ноги.

– Это, должно быть, первый любовник, Жанна, – сказала маркиза. – На такие роли выбирают самых красивых мужчин в труппе – не подобает же носатому нашептывать нежности, а кривоногому преклонять колена для любовного признания.

– Да это совсем никуда бы не годилось, – смеясь, подтвердила горничная. – Мужья какие есть, такие и есть, а любовники должны быть безупречны.

– Потому-то мне и нравятся театральные любезники, они цветисто говорят, умело выражают нежные чувства, млеют у ног жестокой красавицы, призывают в свидетели небеса, клянут свою судьбу, выхватывают из ножен шпагу, чтобы пронзить себе грудь, точно дышащий любовью вулкан, извергают огонь и пламень и своими речами способны довести до экстаза самую неприступную добродетель; слова их так приятно волнуют меня, будто обращены прямо ко мне. Порой меня даже раздражает холодность красотки, и я про себя негодную на то, что по ее милости томится и сохнет столь совершенный любовник.

– У вашего сиятельства добрая душа, – ответила Жанна, – вам невольно смотреть на чужие страдания. Я куда более жестокосердна, мне прелюбопытно было бы взглянуть, как это на самом деле умирают от любви. Пышными словами меня не убедишь!

– У тебя чересчур прозаический ум, Жанна, он требует материальных доказательств. Ты, не в пример мне, не привыкла читать романы и театральные пьесы. Кажется, ты говорила, что первый любовник труппы недурен собой?

– Можете судить об этом сами, ваше сиятельство, – сказала камеристка, глядя в окно. – Он как раз идет по двору, должно быть, в оранжерею, где сооружают театр.

Маркиза приблизилась к оконной амбразуре и увидела Леандра, который шел мелкими шажками, как бы погруженный в страстные мечты. Он на всякий случай напускал на себя меланхолический вид, за которым женщины угадывают сердечную рану и рвутся ее врачевать. Подойдя к балкону, он закинул голову рассчитанным движением, придавшим его глазам особый блеск, и устремил на окно долгий, скорбный взгляд, полный безнадежной любви и вместе с тем живейшего и почтительнейшего восхищения. Увидев маркизу, прильнувшую лбом к стеклу, он снял шляпу и взмахнул ею так, что пером коснулся земли, и отвесил глубокий поклон, какой отвешивают королевам и богиням, подчеркивая дистанцию между эмпиреями и земной юдолью. Затем изящным жестом надел шляпу и снова принял надменную осанку кавалера, на миг склонившего свою гордыню к подножию красоты. Все это было проделано четко, точно, безупречно. Настоящий вельможа, искушенный в светском и придворном обиходе, не мог бы вернее передать малейший оттенок.

Польщенная его приветствием, сдержанным и вместе с тем благоговейным, так умело отдающим должное ее высокому званию, маркиза не могла удержаться, чтобы не ответить легким кивком головы и чуть заметной улыбкой.

Эти знаки благосклонности не ускользнули от Леандра, и он с присущим ему фатовством не замедлил преувеличить их значение, тотчас же решив, что маркиза успела в него влюбиться. В его необузданном воображении уже созрел целый фантастический роман. Наконец-то осуществится мечта всей его жизни! Наконец у него, бедного провинциального актера, разумеется, высокоодаренного, но ни разу еще не игравшего при дворе, будет любовная интрига с настоящей знатной дамой, владелицей поистине княжеского замка. От

этих бредней у него голова пошла кругом; сердце готово было выпрыгнуть из груди, и, воротясь к себе в комнату после репетиции, он сел писать высокопарное послание, рассчитывая каким-нибудь путем передать его маркизе.

Так как все роли были давно известны, пьеса «Бахвальство капитана Матамора» могла начаться сразу же, как съехались гости маркиза.

Оранжевая, превращенная в театральную залу, являла собой очень красивое зрелище. Свечи, вставленные в стенные жирандоли, распространяли мягкий свет, выгодный для женских уборов, без ущерба для сценических эффектов. Позади зрителей, на ступенчатом дощатом возвышении, были расставлены кадки с померанцевыми деревьями; от их листьев и плодов, согретых теплом залы, исходил сладостный аромат, смешиваясь с запахами духов – мускуса, розного ладана, ириса и амбры.

В первом ряду, перед самой сценой, массивные кресла занимали Иоланта де Фуа, герцогиня де Монтальбан, баронесса д'Ажемо, маркиза де Брюйер и другие высокородные особы, соперничавшие между собой в щегольстве и великолепии нарядов. Бархат, атлас, серебряная и золотая парча, кружево, гипюр, канитель, бриллиантовые застежки, жемчужные ожерелья, серьги с подвесками, подхваты из драгоценных камней искрились на свету, переливаясь всеми цветами радуги. Но куда ярче любых алмазов сверкали глаза их обладательниц. И при дворе вряд ли могло собраться более блистательное общество.

Не будь там Иоланты де Фуа, многие смертные богини поставили бы Париса перед выбором, которой из них вручить золотое яблоко, но ее присутствие делало всякое соревнование бесполезным. Между тем юная аристократка гораздо менее была похожа на снисходительную Венеру, нежели на суровую Диану. Красота ее была безжалостна, осанка непреклонна, совершенство доводило до отчаяния. Лицо удлинённого изящного овала казалось не сотворенным из живой плоти, а выточенным из агата или оникса, такой неземной чистоты и благородства были его черты. Тонкая, гибкая лебединая шея девственной линией переходила в плечи, еще по-детски худощавые, и в юную белую, как снег, грудь, ни разу не трепетавшую от бурного биения сердца. Изогнутый, как лук Дианы Охотницы, рот метал стрелы иронии, даже когда безмолвствовал, а ледяные взгляды голубых глаз пресекали предприимчивость смельчаков. Однако ее очарование было неотразимо. Весь ее дерзостно ослепительный облик бросал вызов несбыточным желаниям. Ни один мужчина, увидев Иоланту, не мог в нее не влюбиться, но лелеять мечту о взаимной любви

отваживались очень немногие.

Как она была одета? У нас не достанет самообладания, чтобы описать ее наряд. Одежда облекала ее стан лучезарной дымкой, в которой каждый видел лишь ее самое. Однако сдается нам, что гроздь жемчугов переплетались с ее золотистыми кудрями, как ореол сиявшими вокруг лба.

Позади дам на табуретах и скамейках расположились вельможи и родовитые дворяне – отцы, мужья и братья красавиц. Одни изящно склонялись над спинками кресел, нашептывая любезности в благосклонное ушко, другие обмахивались султанами своих шляп или, выпрямься во весь рост и подбоченясь, чтобы покрасоваться своей статью, окидывали собрание самодовольным взглядом. Гул голосов, как легкий туман, реял над головами зрителей, которые начали уже терять терпение, когда раздались три торжественных удара, тотчас же водворив тишину.

Занавес медленно раздвинулся, и открылась декорация, изображавшая городскую площадь, место неопределенное, удобное для интриг и столкновений примитивной комедии. Это был перекресток, окруженный домами с островерхими кровлями, с выступающими один над другим этажами, со свинцовыми переплетами на оконцах, с наивными штопорами дымков, поднимавшихся из труб к облакам, которым никакие швабры не могли вернуть первоначальную белизну. На стыке двух улиц, отчаянными усилиями стремившихся углубиться в холст и создать перспективу, стоял дом с настоящей дверью и настоящим окном. Две кулисы, соединенные наверху полоской кисеи с лужицами жира, обладали теми же усовершенствованиями, а на одной из них имелся даже балкон, на который можно было взобраться по лесенке, невидимой для зрителей, – устройство, удобное для бесед, свиданий и похищений на испанский манер. Как видите, театр нашей маленькой труппы был недурно оборудован по тем временам. Конечно, на взгляд знатока, декорации были намалеваны довольно неумело и грубо. Черепицы на крышах резали глаз не в меру ярким красным цветом, листва на деревьях перед домами отличалась ядовитейшей зеленью, а голубые просветы на небе были лазоревы до неправдоподобия; но по общему виду снисходительные зрители довольно легко могли представить себе, что место действия – городская площадь.

От двадцати четырех свеч рамп, с которых был тщательно снят нагар, падал яркий свет на эти бесхитростные декорации, непривычные к такому роскошеству. Красочное зрелище вызвало в публике гул одобрения.

Пьеса начиналась ссорой честного буржуа Пандольфа с дочерью Изабеллой. Она объявила, что влюблена в белокурого красавца, а потому наотрез отказывается выйти замуж за капитана Матамора, от которого отец был без ума, и служанка Зербина, подкупленная Леандром, рьяно поддерживала ее сопротивление. Пандольф ругательски ругал дерзкую субретку, а она, не оставаясь в долгу, находила сотни возражений и советовала хозяину самому обвенчаться с Матамором, раз уж он ему так полюбился. Она же не попустит, чтобы ее барышня стала женой старого филина, носатой образины, которая щелчка просит, пугала, годного только для огорода. Взбешенный Пандольф, желая поговорить с дочерью наедине, гнал субретку в дом; но она плечом оборонялась от его толчков и, не двигаясь с места, так изгибала стан, так задорно поводила бедрами, так кокетливо шуршала юбками, что настоящей балерине впору было позавидовать ей. На каждую тщетную попытку Пандольфа она отвечала смехом, открывая рот во всю ширь и показывая тридцать два жемчужных зуба, еще ярче сверкавших при свечах, ее смех способен был разогнать тоску самого Гераклита, подведенные глаза сияли, как бриллианты, губы рдели от кармина, а новые юбки, сшитые из подаренной маркизом тафты, трепыхаясь, вспыхивали на сгибах и как будто сыпали искрами.

Ее игра вызвала дружные рукоплескания, и владелец замка Брюйер лишний раз убедился, что проявил хороший вкус, остановив свой выбор на этой жемчужине всех субреток.

Но тут новый персонаж появился на сцене, оглядываясь по сторонам, словно боясь, что его заметят. Это был Леандр, бич отцов, мужей и опекунов, любимец жен, дочерей и воспитанниц, – одним словом, любовник, тот, о ком мечтают, кого ждут и кого ищут и кто должен претворить в действительность отвлеченный идеал, осуществить посулы поэтов, драматургов и романистов, стать олицетворением молодости, страсти, счастья, не знать человеческих немощей, не испытывать ни голода, ни жажды, ни зноя, ни стужи, ни страха, ни усталости, ни болезней и ни на миг – ночью и днем – не утратить способности испускать томные вздохи, ворковать о любви, прельщать дуэний, подкупать субреток, взбираться по веревочным лестницам, обнажать шпагу при встрече с соперником или с неожиданной помехой и при этом всегда быть чисто выбритым, красиво завитым, носить безупречное платье и белье, строить глазки и складывать губы сердечком, наподобие восковой куклы! Тяжкое ремесло, которое не окупается даже любовью всех женщин без изъятия.

Рассчитывая встретить Изабеллу, а вместо нее столкнувшись с Пандольфом, Леандр застыл на месте в позе, которая была тщательно заучена перед зеркалом, так как она подчеркивала достоинства его наружности: стан склонен влево, правая нога чуть согнута в колене, одна рука сжимает эфес шпаги, другая поднята к лицу, чтобы виден был блеск пресловутого алмаза на перстне, пламенный взор подернут негой, легкая улыбка приоткрывает эмаль зубов. Сейчас он на самом деле был хорош собой. Новые ленты освежили костюм, сорочка ослепительной чистоты белой пеной проступала между камзолом и панталонами, узкие башмаки на высоких каблуках, украшенные огромной кокардой, дополняли облик отменного кавалера. Зато и в глазах дам он преуспел вполне; даже придирчивая Иоланта не нашла в нем повода для насмешки. Воспользовавшись паузой, Леандр через рампу обратил к маркизе самый свой обольстительный взгляд с выражением такой страстной мольбы, что она невольно залилась краской; затем он перевел этот взгляд на Изабеллу, но уже потухшим и рассеянным, как бы подчеркивая разницу между любовью истинной и поддельной.

При виде Леандра Пандольф разъярился еще пуще. Он приказал дочери и суретке немедленно войти в дом, однако Зербина успела все-таки спрятать в карман записочку от Леандра к Изабелле с просьбой о ночном свидании. Оставшись наедине с отцом, молодой человек учтивейшим образом принялся заверять его в чистоте своих намерений, имеющих целью заключить священнейшие из уз, а также в благородстве своего происхождения, благосклонности к нему сильных мира сего и кое-каких связях при дворе, превыше же всего в том, что даже смерть не отторгнет его от Изабеллы, ибо он любит ее больше жизни; юная девица, стоя на балконе, с восторгом внимала его пленительным речам и грациозными кивками выражала одобрение. Не поддаваясь этому слащавому красноречию, Пандольф с чисто старческим упорством долбил свое – либо его зятем будет капитан Матамор, либо он упрячет дочку в монастырь. И тут же отправился за нотариусом, чтобы покончить с этим делом.

Уходя, Пандольф замкнул дверь на двойной запор, и теперь Леандр убеждал появившуюся у окна красотку, чтобы она, во избежание таких крайностей, согласилась бежать с ним к его знакомому монаху – тот не отказывается сочетать браком влюбленных, которым чинит препоны деспотизм родителей. На это Изабелла, признавая, сколь чувствительна она к страсти Леандра, с девичьей скромностью возразила, что надо чтить тех, кто произвел нас на свет, а монах этот, чего доброго, и не может венчать как положено; зато она обещает противиться всеми силами и скорее пострижется в монахини, нежели вложит

свою ручку в лапищу Матамора.

Влюбленный отправился кое-что предпринять с помощью слуги – продувного малого, изобретательного на плутни, уловки и военные хитрости, не хуже самого Полиена. К вечеру он намеревался возвратиться под балкон возлюбленной и отдать ей отчет в успехе своих начинаний.

Едва Изабелла закрыла окно, как, по своему обыкновению некстати, на сцене появился Матамор. Его выход, которого все ждали, произвел сильный эффект. Этот излюбленный персонаж обладал даром вызывать смех у самых заядлых меланхоликов.

Хотя столь свирепое поведение ничем не было вызвано, Матамор, делая шаги длиной с те шестифутовые слова, о которых толкует Гораций, приблизился к рампе и остановился там, расставив ноги циркулем, нагло и заносчиво подбоченясь, словно бросал вызов всей зрительной зале. При этом он крутил ус, вращал глазами, раздувал ноздри и громко пыхтел, как бы в гневе за мнимую обиду намереваясь уничтожить весь род человеческий.

Ради столь торжественного случая Матамор извлек из недр сундука почти новый костюм, который надевался лишь при особых обстоятельствах и в своей карикатурно испанской пышности казался еще нелепее на скелетоподобном капитане. Состоял костюм из выгнутого наподобие лат камзола с красными и желтыми поперечными полосами, которые, как на перевернутом гербе, сходились под углом посередке и были скреплены рядом пуговиц. Мыс камзола спускался низко на живот, а края его и проймы были обшиты толстым жгутом тех же цветов; такие же полосы извивались спиралью вдоль рукавов и панталон, отчего руки и ляжки казались затейливыми дудками. Кто вздумал бы натянуть на петуха красные чулки, тот получил бы точное представление об икрах Матамора. Огромные желтые помпоны сидели на башмаках с красными прорезьями, точно капустные кочны на огороде; подвязки с торчащими бантами стягивали над коленом ноги, лишённые намека на мясо, как лапы голенастой цапли. Положенные на картон и заглаженные восьмерками брыжи охватывали шею и вынуждали актера задирать голову, что соответствовало духу его заносчивых персонажей. А голову ему покрывала пародия на шляпу в стиле Генриха IV с загнутым полем и с пучком красных и белых перьев. За плечами развевался изрезанный зубцами плащ тех же цветов, прекомически подхваченный гигантской рапирой, которую оттягивала тяжелая чашка. В конце длиннейшего клинка, на который можно было бы насадить с десяток сарацинов,

висела проволочная розетка тонкой работы, изображавшая паутину, – неоспоримое доказательство того, как редко Матамор пользовался своим смертоносным оружием. Зрители, обладавшие острым зрением, могли бы даже разглядеть металлического паучка, который безмятежно болтался на проволочной нити, явно уверенный, что никто не помешает его трудам.

В сопровождении слуги Скапена, которому острие хозяйской рапиры грозило выколоть глаза, Матамор раза два-три обежал сцену, звеня шпорами, нахлобучив шляпу до бровей и строя страшные рожи. Зрители покатывались со смеху; наконец он вновь остановился у самой рампы и начал монолог, уснащенный враньем, преувеличениями и похвальбой; постараемся вкратце изложить его содержание, из которого люди просвещенные могут заключить, что автор пьесы читал Плавтова «Miles gloriosus», прародителя всей плеяды Матаморов.

– На сегодня, Скапен, я дам моей смертоносной рапире отдохнуть в ножнах и предоставлю лекарям увеличивать население кладбищ, где я состою главным поставщиком. Кто, подобно мне, свергнул с престола персидского шаха, за бороду вытащил Арморабакена из его стана, а свободной рукой сразил десять тысяч неверных турок, пинком сокрушил стены сотен крепостей, не раз бросал вызов судьбе, задавал трепку случаю, предавал зло огню и мечу, как гусака ощипал Юпитерова орла, когда тот отказался принять вызов, боясь меня больше, чем титанов, кто шел против ружей с громовой стрелой, вспарывал небо острием усов, – тому, конечно, не грех побездельничать и поразвлечься. Кстати же, вселенная укрощена и не ставит более преград моей удали, а парка Атропа осведомила меня, что ножницы, которыми она обрезала нить скошенных моим мечом жизней, притупились и ей пришлось отправить их к точильщику. Итак, Скапен, мне надо обеими руками сдерживать мою храбрость, прекратить на время дуэли, войны, побоища, разгромы, опустошения городов, рукопашные схватки с гигантами, истребление чудовищ по образцу Тезея и Геркулеса, в чем находит себе выход вся алчность моей неукротимой отваги. Я сам хочу отдохнуть и даю передышку смерти! Ну а в каких развлечениях проводит свои досуги и рекреации сеньор Марс, этот жалкий драчун по сравнению со мной? Он нежится в объятиях белых и мягких рук госпожи Венеры, которая, будучи благоразумнейшей из богинь, отдает предпочтение воинам, жестоко презирая своего хромоногую рогоносца-мужа. Вот почему я решил снизойти до человеческих чувствований, и, видя, что купидон не осмеливается направить стрелу с золотым наконечником в храбреца моей закалки, я поощрительно подмигнул ему. Этого мало, – чтобы острие могло пронзить доблестное львиное сердце, я скинул кольчугу, сплетенную из колец, которые дарили мне богини,

императрицы, королевы, инфанты, принцессы и знатные дамы со всего света, мои знаменитейшие любовницы, дабы их магическая сила оберегала меня в самых моих безрассудных деяниях.

– Насколько моему слабому разумению доступны перлы столь блистательного красноречия, уснащенного столь меткими оборотами и красочными метафорами в азиатском вкусе, – сказал слуга, делавший вид, будто слушает пламенную тираду хозяина с величайшим напряжением ума, – из этого чуда риторики явствует, что вашей доблестнейшей милости вздумалось воспылать страстью к какому-нибудь юному бутончику, иначе говоря, вы влюбились, как самый простой смертный.

– Надо сознаться, для лакея у тебя недюжинная смекалка, ты попал прямо в точку, – снисходительно, с высокомерным добродушием подтвердил Матамор. – Да, я имею слабость быть влюбленным; но не бойся, это не нанесет ущерба моей отваге. Я не Самсон, чтобы позволить себя остричь, и не Алкид, чтобы сидеть за прялкой. Пусть попробовала бы Далила дотронуться до моих волос! А Омфала, та стаскивала бы с меня сапоги. При малейшем непослушании я бы заставил ее отчищать от грязи шкуру немейского льва, как испанский плащ. В часы досуга у меня явилась такая унижительная для отважного сердца мысль: конечно, я сразил род человеческий, но поверг только лишь его половину. Женщины, создания беззащитные, ускользают из-под моей власти. Неблаговидно рубить им головы, отрезать руки и ноги, рассекать их надвое до пояса, как я поступаю с моими врагами – мужчинами. Уचितость не допускает таких воинственных повадок с женщинами. Мне достаточно капитуляции их сердец, безоговорочной покорности души, расправы с их добродетелью. Правда, число плененных мною дам превышает количество песчинок в море и звезд на небе, я таскаю за собой четыре сундука с любовными записочками, письмами и посланиями и сплю на тюфяке, набитом черными, русыми, рыжими и белокуроыми локонами, которыми одаривали меня даже целомудреннейшие скромницы. Со мною заигрывала сама Юнона, но я отверг ее, потому что она порядком перезрела в своем бессмертии, несмотря на то что Канафосский ключ каждый год возвращает ей девственность. Но все эти победы я считаю поражениями, и лавровый венок, в котором недостает хотя бы одного листка, не нужен мне, он обесчестит мое чело. Прелестная Изабелла смеет мне противиться, и, хотя любые преграды мне желанны, такую дерзость я стерпеть не могу и требую, чтобы она сама коленопреклоненно с распущенными волосами, моля о пощаде и помиловании, принесла мне на серебряном блюде золотые ключи от своего сердца. Ступай, принуди эту твердыню к сдаче. Даю ей три минуты на размышления: песочные часы будут в ожидании трепетать на длани уstraшенного времени.

С этим Матамор остановился в подчеркнута угловатой позе, комизм которой усугубляла его сверхъестественная худоба.

Несмотря на лукавые уговоры Скапена, окно не открывалось. Уповая на прочность стен и не боясь подкопа, гарнизон в составе Изабеллы и Зербины не подавал признаков жизни. Матамор, которого ничем нельзя озадачить, на сей раз был озадачен этим молчанием.

– Кровь и пламень! Небо и земля! Громы и молнии! – взревел он, топорща усы, как разъяренный кот. – Эти потаскушки не шелохнутся, точно дохлые козы. Пусть выкинут флаг и бьют отбой, иначе я щелчком опрокину их дом! И поделом недотроге, если она погибнет под развалинами. Скапен, друг мой, чем ты объясняешь такое лютое и дикое сопротивление моим чарам, коим, как известно, нет равных ни у нас на земноводном шаре, ни даже на Олимпе, обителище богов?!

– Я объясняю это очень просто. Некий Леандр, конечно, не такой красавец, как вы, – но не все обладают хорошим вкусом, – вступил в сговор с местным гарнизоном, и ваша отвага направлена на крепость, покоренную другим. Вы пленили отца, а Леандр пленил дочь. Только и всего.

– Что? Ты говоришь – Леандр?! О, не повторяй этого презренного имени, не то от лютой злобы я сорву с небес солнце, выбью глаз у луны и, ухватив землю за концы земной оси, так ее трягну, что произойдет новый потоп не хуже, чем при Ное или Огиге. Этот поганый сопляк осмеливается у меня под носом ухаживать за Изабеллой, царицей моих помыслов! Только покажись мне, отпетый развратник, хлыщ с большой дороги, я вырву тебе ноздри, разрисую крестами твою рожу, проткну тебя насквозь, разнесу, исколю, раздавлю, распотрошу, растопчу тебя, сожгу на костре и развею твой пепел! Если ты попадешься мне под руку, пока не отбушевал мой гнев, пламя из моих ноздрей отбросит тебя в первозданный огонь за пределы вселенной. Я зашвырну тебя в такую высь, что назад ты уже не вернешься. Стать мне поперек дороги! Я сам содрогаюсь при мысли, сколько бед и несчастий навлечет такая дерзость на злополучное человечество. Достоинно покарать такое преступление я могу, лишь раскроив одним ударом всю планету. Леандр – соперник Матамора! Клянусь Махмутом и Терваганом! Слова застревают в испуге, не смея выговорить такую ересь. Они не вяжутся друг с другом; когда берешь их за шиворот, чтобы соединить вместе, они воют, зная, что я не спущу им такой дерзости. Отныне и впредь Леандр, – о

язык мой, прости, что я вынуждаю тебя произнести это гнусное имя, – Леандр может почитать себя покойником и пусть поспешит заказать себе у каменотеса надгробный монумент, если я по великодушию своему не откажу ему в погребении...

– Клянусь кровью Дианы! Что кстати, то кстати, – заметил слуга, – господин Леандр собственной персоной не спеша приближается к нам. Вот вам случай начистоту объясниться с ним, и каким же великолепным зрелищем будет поединок двух таких храбрецов! Не стану таить от вас, что среди местных учителей фехтования и их помощников этот дворянин завоевал неплохую славу. Поспешайте обнажить шпагу; я же, когда дело дойдет до схватки, постерегу, чтобы стражники не помешали вам.

– Искры от наших клинков обратят их в бегство. Разве такое дурачье посмеет сунуться в этот кроваво-огненный круг? Не отходи от меня, друг Скапен, если по несчастной случайности мне будет нанесен чувствительный удар, ты примешь меня в свои объятия, – отвечал Матамор, очень любивший, когда прерывали его поединок.

– Идите же отважно навстречу и преградите ему путь, – сказал слуга, подталкивая своего господина.

Видя, что отступление отрезано, Матамор нахлобучил шляпу до бровей, подкрутил усы, положил руку на чашку своей гигантской рапиры и, приблизясь к Леандру, смерил его с головы до пят самым что ни на есть дерзким взглядом; но все это было пустое фанфаронство, потому что зубы его громко стучали, а тощие ноги дрожали и гнулись, словно тростник под ветром. У него оставалась последняя надежда утратить Леандра громовыми раскатами голоса, угрозами и похвальбами, ибо зайцы часто рядятся в львиные шкуры.

– Известно ли вам, сударь, что я капитан Матамор, отпрыск славной фамилии Куэрно де Корнасан и свойственник не менее знаменитого рода Эскобомбардон де ла Папиронтонда, а по женской линии являюсь потомком Антея?

– Да хоть бы вы явились с луны, – презрительно передернув плечами, ответил Леандр, – мне-то какое дело до этой белиберды!

– Черт подери, сударь, сейчас вам до этого будет дело, а пока не поздно, убирайтесь прочь, и я пощажу вас. Мне жаль вашей молодости. Взгляните на меня. Я гроза вселенной, запанибрата с Курносой, провидение могильщиков; где я прохожу, там вырастают кресты. Тень моя едва решается следовать за мной, в такие опасные места я таскаю ее. Вхожу я только через брешь, выхожу через триумфальную арку; подаюсь вперед, только делая выпад, подаюсь назад, парируя удар; ложусь, – значит, повергаю врага; переправлюсь через реку, – значит, это река крови, а мостовые арки – это ребра моих противников. Я упиваюсь разгулом битвы, убивая, рубя, разя, круша направо и налево, пронзая насквозь. Я швыряю на воздух коней вместе со всадниками и, как соломинки, переламываю кости слонов. Беря крепость приступом, я взбираюсь на стены с помощью двух пробойников и голыми руками извлекаю ядра из пушечных жерл. Ветер от взмаха моего меча опрокидывает батальоны, точно снопы на току. Когда Марс сталкивается со мной на поле битвы, он бежит, боясь, что я его уложу на месте, хоть и зовется богом войны; словом, отвага моя столь велика и ужас, внушаемый мною, столь силен, что до сей поры мне, аптекарю смерти, доводилось видеть любых храбрецов лишь со спины!

– Ну что же, сейчас вы увидите одного из них в лицо, – заявил Леандр, награждая левый профиль Матамора увесистой пощечиной, смачный отзвук которой прокатился по всей зале.

Бедняга качнулся вбок и едва не упал, но вторая, не менее внушительная пощечина с другой стороны восстановила его равновесие.

Во время этой сцены на балконе появились Изабелла и Зербина. Лукавая Субретка покатывалась со смеху, а госпожа ее приветливо кивала Леандру. В глубине сцены показался Пандольф в сопровождении нотариуса и, растопырив все десять пальцев, вытаращив глаза, смотрел, как Леандр колотит Матамора.

– Клянусь шкурой крокодила и рогом носорога, – завопил хвастун, – могила твоя разверста, и я столкну тебя в нее, мошенник, проходимец, бандит! Лучше бы тебе было дернуть за ус тигра или змею за хвост в индийских лесах. Задеть Матамора! На это не отважился бы сам Плутон со своим двузубцем. Я бы низверг его с адского престола и завладел Прозерпиной. Ну же, наголо, мой смертоносный клинок! Выглянь на свет, свергни на солнце и, как в ножны, вонзись в живот безрассудного наглеца. Я алчу его крови, его мозга, всех его потрохов, я вырву душу из его глотки!

Говоря так, Матамор напрягал все жилы, вращал глазами, щелкал языком, будто всячески старался вытянуть непокорный клинок из ножен. Он весь вспотел от усилий, но смертоносная сталь предпочитала остаться нынче дома, как видно, опасаясь потускнеть от сырого воздуха.

Леандру прискучило смотреть на эти смехотворные старания, он дал хвастуну такого пинка, что тот отлетел на другой конец сцены, сам же, отвесив грациозный поклон Изабелле, удалился.

Матамор, лежа на спине, болтал в воздухе своими тонкими, стрекозьими ногами. Поднявшись с помощью Скапена и Пандольфа и убедившись, что Леандр ушел, он сделал вид, будто захлебывается от бешенства.

– Сделай милость, Скапен, стяни меня железными обручами, – я сейчас лопну от ярости, разорвусь, как бомба! А ты, коварный клинок, предаешь своего господина в роковую минуту – вот какова твоя благодарность за то, что я всегда поил тебя кровью славнейших воинов и бесстрашнейших дуэлистов! Мне следовало бы переломить тебя о колено на тысячу кусков за трусость, измену и вероломство; но ты дал мне понять, что истинный воин всегда должен быть готов идти на приступ, а не предаваться любовной неге. Правду сказать, за всю эту неделю я не обратил в бегство ни одной армии, не сразил ни дракона, ни другого чудовища, не снабдил смерть положенным рационом трупов, и ржавчина покрыла мой меч – ржавчина стыда, плесень праздности! На глазах у моей избранницы этот молокосос посмел смеяться, глумиться надо мной, задирать меня. Мудрый урок! Философическое поучение! Нравственное назидание! Отныне я ежедневно буду убивать перед завтраком не меньше двух-трех человек, чтобы рапира моя не ржавела в ножнах. А ты напоминай мне об этом.

– Леандр, того и гляди, вернется, – заметил Скапен. – Что, если мы все разом попробуем извлечь из ножен ваш грозный клинок?

Матамор уперся в камень, Скапен ухватился за рукоять, Пандольф – за Скапена, а нотариус – за Пандольфа, и после нескольких попыток клинок наконец поддался усилиям троих шутов, которые, задрав конечности, покатались в одну сторону, а сам бахвал в другую, потрясая в воздухе башмаками и все еще держась за ножны.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (<http://www.litres.ru/teofil-gote/kapitan-fracass/?lfrom=201227127>) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

notes

Примечания

Купить: <https://tellnovel.com/teofil-gote/kapitan-fracass-kupit>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)